

Михаил Ходорковский

Новая Россия, или Гардарика

(Страна городов)

**Десять политических заповедей
России XXI века**

февраль 2020

Содержание:

Введение. Выбор происходит в головах	4
Империя или Нация-государство? (О цивилизационном выборе)	7
Сверхдержавие или Национальные интересы? (О геополитическом выборе)	14
Московия или Гардарика? (Об историческом выборе)	24
Демократия или Опричнина? (О политическом выборе между либерализмом и русским фашизмом)	35
Монополия или Конкуренция? (Об экономическом выборе)	44

Левый или Правый поворот? (О социальном выборе)	52
Слово на свободе или Гласность в резервации? (Об интеллектуальном выборе)	67
Парламентская или Президентская республика? (О конституционном выборе)	78
Правовое государство или Диктатура закона? (О правовом выборе)	85
Справедливость или Милосердие? (О нравственном выборе)	93
Заключение. Прошлое должно нас объединять, а не разъединять	101

Введение

Мы как страна находимся в сложном положении: общество уже понимает, что так больше нельзя, но при этом боится, что будет хуже.

Власть, за исключением президента, ощущает, что хорошего выхода нет, но надеется, что вдруг пронесет.

У оппозиции есть общее стремление раскачивать режим, но отсутствует общее понимание, а что после.

В связи с этим, на мой взгляд, назрела необходимость ясно сказать людям, что мы им предлагаем, какие даем ответы на ключевые философские вопросы бытия. Люди имеют право знать, чего им ждать, если они встанут на нашу сторону, и за какие, собственно, идеалы имеет смысл, пожертвовав спокойной жизнью, рисковать своей свободой и благополучием своих близких.

Можно с полной уверенностью сказать: время прятать голову в песок, уходя от обсуждения серьезных общественных проблем, прошло.

«Мы не о политике, а только против свалки под окнами», «мы не о политике, а против произвола», «мы не о политике, а о свободе творчества, о коррупции, о свободе интернета...» — да, время подобного милого лукавства прошло. Если вы «не о политике», то

стойте на паперти и ждите: может, подадут из милости и под хорошее настроение, но скорее, по нынешним временам и нравам, пнут ногой и отберут последнее.

А вот если вы хотите всерьез отстаивать свои права или права других людей, то это и есть самая настоящая политика, а значит — выборы, значит — противостояние со всеми его рисками.

Среди оппозиции я нахожусь в уникальном положении (правда, меня оно не слишком радует). Имея большой управленческий опыт — тут и работа в правительстве, и руководство рядом крупнейших, стратегических для страны компаний с примыкающими к ним десятками моногородов и поселков, — я лишен возможности заниматься практической организационной работой на месте.

Выслав меня из страны, власть наглухо захлопнула за мною дверь и повернула ключ, прямо и формально пообещав пожизненное заключение в случае возвращения.

У немногих есть такой, как у меня, опыт (можно сказать: к счастью, немногих, ибо опыт этот дорого обходится) — высказать в лицо Владимиру Путину все, что я думаю о коррупции в высших эшелонах власти, получить в течение месяца после этого уголовное дело и провести более десяти лет в заключении (шесть в камере и четыре на зонах). Плюс четыре голодовки, включая две «сухие», и все — до исполнения требований, три из них — в знак солидарности.

Десять лет. Это почти столько же, сколько у моего друга — Платона Лебедева. Это неизмеримо меньше, чем у моего коллеги — Алексея Пичугина, остающегося в тюрьме. Это легче, чем выпало другому моему коллеге, юристу Василию Александяну, умершему через год после освобождения от болезни, от которой его отказывались лечить в тюрьме...

Мне есть что предъявить этой власти, есть что вспомнить и есть то, чего не забыть.

Но именно поэтому я не хочу говорить о прошлом, а предлагаю подумать о будущем.

Я считаю себя вправе сопоставлять справедливость и милосердие, прощать и отказывать в прощении тем, кто, считаю, заслужил наказание.

Ни в коем случае не воспринимаю себя истиной в последней инстанции.

У каждого из нас свой опыт, свои счеты и свои мысли о будущем. Просто я, в силу свойственной мне организации ума, решил не поговорить о том, как бы нам сменить власть, а обсудить практический план действий «после Путина».

В моих временных категориях, — а я после тюрьмы ощущаю время по-иному, — режиму осталось не так много, от пяти до десяти лет. Я не знаю, как он кончится. Может, и вместе с Путиным. А может, все будет более-менее гуманно: тот уйдет сам и будет доживать отведенный Господом срок где-нибудь на афонских берегах.

Так или иначе, но режим кончится. Сколько же тогда всего придется чинить! И быстро. И хорошо бы к этому моменту обществу решить, кто мы и куда идем, какова наша общая дорога в этом быстро меняющемся мире.

Империя или Нация-государство?

Как минимум последние полтысячи лет, еще со времен царя Ивана Грозного, Россия существует как империя, то есть страна, состоящая из частей, разных по своей культуре и социально-политическому устройству, объединенных между собой отнюдь не желанием жить вместе, а лишь вооруженной силой.

Все ныне живущие поколения и десятки поколений до них ничего иного, кроме империи, не видели и ни о какой иной форме политического существования не задумывались. А если империя вдруг ослабевала, обычно случались смута, разруха и гражданская война, приносившие больше бед, чем все изъятия империи, вместе взятые.

Смуты каждый раз заканчивались созданием новых, еще более амбициозных и воинственных империй. На смену Московскому царству Рюриковичей пришла империя Романовых, а ее, в свою очередь, сменила империя большевиков. Между ними пролегли две страшные гражданские войны. Люди в России привыкли к империи, они доверяют ей, они видят в ней спасение от разрухи и неустойчивости общественной жизни.

А еще они не верят в себя, в свою способность жить без царя (неважно, как его зовут — император, генсек или президент) с его

железной рукой, с его полицейскими, с его армией, с его чиновниками. Они не верят обещаниям тех, кто призывает их к свободе и демократии, потому что помнят на генетическом уровне: альтернатива империи — это смута, разруха и хаос.

Но пока Россия строила и ломала империи, снова строила еще более могущественные империи и снова их ломала, мир вокруг нее сильно изменился. Империи как форма организации народов стали уходить в прошлое, а им на смену пришли нации-государства, проще — национальные государства, то есть страны, где главенствует общая культура (язык, литература и бытовые привычки) и желание людей жить по одним законам и на одной территории (о не вполне успешных идеях последних лет вроде мультикультурализма — позже).

Неожиданно Россия осталась чуть ли не единственной империей на планете, таким «последним из могикиан» Средневековья.

Россия сегодня окружена народами, которые организуют свою жизнь на совершенно иных принципах, чем империя, но не только не гибнут, а процветают. Хотя и у этих национальных государств хватает своих проблем, разрыв между ними и «последней империей» в экономическом и технологическом развитии, в уровнях образования и здравоохранения, просто в продолжительности и качестве жизни людей растет гигантскими темпами. С каждым днем эта пропасть увеличивается, и недалек тот день, когда разрыв станет катастрофическим, непреодолимым для одного или даже двух поколений.

Те, кому довелось родиться и жить на нынешнем «краю русской цивилизации» и на ком лежит ответственность за ее будущее, предстоит в ближайшие годы сделать эпохальный выбор между империей и национальным государством. Им предстоит ответить на вопрос: хотят ли они придерживаться традиции и будут ли поэтому пытаться любой ценой отстраивать свою умирающую империю — или они готовы отказаться от традиции, выбросить империю на ту самую свалку истории и попытаться построить на ее месте собственное национальное государство.

Это воистину гамлетовский вопрос: ведь речь идет о выборе между пусть и несовершенным, обреченным на смерть, но до малейшей детали известным старым миром — и манящей,

многообещающей и одновременно пугающей неизвестностью. Проблема нынешних поколений России не в том, что им не нравится такой выбор (это естественно: делать выбор в пользу гибели или изменений никому не нравится), а в том, что у них нет возможности его отсрочить и переложить ответственность за судьбу нашей, русской цивилизации на плечи детей и внуков.

Россия находится на цивилизационном перекрестке. Выбор между империей и национальным государством — это фундаментальный, цивилизационный выбор, который предвосхищает ответы на десятки других, тоже непростых, но менее глобальных вопросов, стоящих перед российским обществом на входе в XXI век. Если этот выбор не сделать сейчас или сделать неправильно, то детям и внукам уже не из чего будет выбирать.

Мой выбор для России — это выбор в пользу национального государства, в пользу будущего, а не прошлого.

Россия моей мечты — это сплоченное внутренним цивилизационным единством объединение людей (различных по этническому происхождению), для которых общее важнее различий, а не империя, скованная снаружи стальным военно-бюрократическим обручем, как старая треснувшая бочка. Не исключаю, что Россия наших детей еще сможет со скрипом просуществовать в имперской оболочке. Но если мы хотим увидеть Россию внуков, то нам необходимо другое — государство, в основе которого реальное, а не нарисованное желание людей жить вместе внутри общего для них языкового, культурного, правового и политического пространства.

Я отвергаю ностальгию по империи, открытую или замаскированную под псевдodemократический и псевдолиберальный антураж. Создание российского государства-нации — величайшая историческая задача, которую русский и другие народы России настойчиво, но непоследовательно решали уже не одно столетие и которую необходимо окончательно решить усилиями ныне живущих поколений. Мы поставлены в такие исторические рамки, когда откладывать это решение на потом больше не получится, — сейчас или никогда. Или мы — или никто.

России нужно нечто большее, чем империя, удерживающая население в повиновении за счет внешней по отношению к обще-

ству силы — армии, полиции и бюрократии, с помощью которых на ее территории создается видимость порядка.

Чем сильнее империя, тем она универсальней, тем однородней ее политическое пространство. Чем слабее — тем больше исключений из общих правил: одни законы для Москвы, другие — для Чечни, третьи — для Крыма и так далее. Единство империи иллюзорно и лишь символически воплощено в фигуре ее верховного правителя, неизбежно приобретающей сакральное значение: «есть Путин — есть Россия», и наоборот.

На смену символическому единству «политической народности», представленной по доверенности несменяемым национальным лидером, должно прийти реальное единство нации, не нуждающейся в «царе-главжандарме» для безраздельного контроля над подданными. Единство политической (гражданской) нации обеспечивается не снаружи, а изнутри, не при помощи армии чиновников, жандармов и просто армии, а за счет прямых политических связей, возникающих в свободном от диктата обществе.

Единство политической нации, в отличие от единства политической народности, первично: оно не создается государством, а создает государство, конституирует его. Именно поэтому государство, созданное нацией (в отличие от государства, контролирующего народ), становится реально конституционным. Чтобы такое государство возникло, нужен консенсус, согласие большинства в вопросе о базовых ценностях и принципах общественного устройства. Человек, согласившийся принять как свои собственные убеждения основные принципы конституции и готовый защищать их при необходимости с оружием в руках, становится гражданином, а народ, состоящий из граждан, становится нацией.

Народы России находятся на пути формирования российской нации, но еще не стали ею. СССР силился создать новый субъект истории — советский народ. Однако, поскольку этот проект был частью тоталитарного коммунистического проекта, отрицавшего те базовые конституционные нормы, вокруг которых только и может сформироваться нация, он оказался провальным. Люди попросту отказались считать принципы коммунистического тоталитаризма своими.

Сегодня эту задачу предстоит решать заново, но уже в рамках конституционного поля, а не при помощи террора.

Нация-государство может возникнуть только вследствие свободного самоопределения народов России. Людям надо дать не бутафорскую, как в 1993 году, и не издевательскую, как в последующие годы, а реальную возможность принять осознанное и основанное на всесторонней информированности решение: готовы ли они жить в едином государстве по правилам, установленным общей конституцией, или же они захотят дальше делать свою историю самостоятельно, принимая на себя все связанные с этим выгоды и тяготы. Это серьезное испытание и большой политический стресс, но через него надо пройти: крепкий дом нельзя построить без фундамента.

Таким образом, создание национального государства в России требует последовательно совершить три исторически важных шага.

Шаг первый: решительный отказ от имперской парадигмы и создание условий для свободного выбора народов России.

Шаг второй: собственно акт учреждения новой России — принятие того решения, которое сто лет назад не смогло принять разогнанное большевиками Учредительное собрание. Возможно, для этого придется созвать новое Учредительное собрание, задействовав «спящую» норму действующей Конституции.

Шаг третий: проведение радикальной конституционной и судебной реформы с целью создания политической и правовой инфраструктуры для русского (или российского) национального государства.

Нация-государство — это государство всех народов России, которые выразят желание и волю стать его соучредителями. Оно не имеет ничего общего с государством, предоставляющим привилегии по крови или по вероисповеданию. Но оно не может игнорировать тот простой факт, что политическое пространство, на котором оно возникло, было сформировано при деятельном участии русского народа и на базе его культуры.

Стыдливое замалчивание этого исторического обстоятельства так же ошибочно и неприемлемо, как и попытки извлечь из него некую политическую прибыль и получить неправовые привилегии для титульной нации.

Почти полвека в Европе подобного рода проблемы решались под лозунгом мультикультурализма. Эта практика сыграла большую роль в деле борьбы с ксенофобией и общего смягчения нравов. Но, как показывают события последних лет, особенно иммиграционный кризис, политика мультикультурализма — не панацея. Ибо она зачастую игнорирует то объективное обстоятельство, что современные общества развиваются не в культурном вакууме, а в рамках определенных культурных традиций, возникших исторически. Эти традиции, цементирующие все остальные культурные элементы, заслуживают уважительного к себе отношения. Поэтому для России важно добавить в философию мультикультурализма принцип культурной интеграции, позволяющий гармонизировать отношения этносов и конфессий на базе их гибкой включенности в общее пространство русской культуры.

Свободное владение русским языком и знание основ российской истории и культуры, как и владение минимумом экономических, политических и правовых знаний, готовность на практике следовать действующим в российском обществе правовым нормам и традициям, должны оставаться обязательными условиями получения российского гражданства.

Такие требования ничуть не ущемляют достоинство и интересы других народов России, каждому из которых будут предоставлены гарантии и условия для свободного развития языка их предков, этнической культуры и самоуправления на местном уровне.

Школа, да и вся образовательная система, обязана в качестве одной из своих важнейших функций иметь воспитание гражданина. Именно гражданина — а не послушного подданного очередного самодержца.

Национальное государство в равной мере удалено как от империи с ее преданностью верховному правителю, обеспеченной кнутом и пряником, так и от казацкой вольницы, так называемого несостоятельного государства, где каждый сам себе закон. Оно в первую очередь обеспечивает порядок и гарантии безопасности личности на более высоком уровне, чем это делает империя, где за фасадом законности скрывается произвол, часто мотивированный коррупцией.

В настоящем национальном государстве гражданин с гордостью идентифицирует себя сначала со своей страной, а уж потом — со своим этносом, родом, регионом, профессией.

Я провел месяц в одной камере с полковником Квачковым — профессиональным военным разведчиком, ветераном войны в Афганистане, прославившимся на всю страну после приписываемых ему попыток покушения на Анатолия Чубайса и даже военного переворота.

Мы люди разных миров и разных взглядов, жесткие оппоненты, чтобы не сказать сильнее, но когда мы обсуждали вопрос, почему наша власть и общество так боятся своего спецназа, а американцы — нет, он произнес слова, которые я помню и спустя полтора десятилетия: «Американский спецназовец рассматривает себя прежде всего как гражданина США и лишь потом как спецназовца. И это естественно: случись с ним что, он получит защиту именно как американский гражданин. А российский уверен в обратном — случись что, и от государства помощи не дождешься, в лучшем случае помогут друзья и сослуживцы. Поэтому наш офицер сначала спецназовец и лишь потом гражданин, а американец — наоборот».

Россию моей мечты переучредят граждане, желающие сами, вместе организовывать свою жизнь. Люди, для которых национальные интересы важнее их сословных, корпоративных или родо-племенных. Люди, которым вместе удобнее, чем врозь.

Сверхдержавие или Национальные интересы?

Выезжая за пределы Московской кольцевой дороги, как правило, очень быстро попадаешь в совершенно другую страну. Если Москва по уровню благоустройства и сервиса может поспорить с любой современной европейской столицей, то эта, другая Россия, где живут сто двадцать миллионов россиян, выглядит как иллюстрация к фильмам о послевоенной Европе, нищей и разрушенной. Трудно поверить, что перед тобой страна — победитель в самой страшной и кровавой в истории человечества войне.

Как мы к этому пришли? Почему через тридцать лет после «победы» над коммунизмом и через двадцать лет бессменного нахождения у власти новой элиты с «холодными головами и чистыми руками», лет непрерывного и совершенно невообразимого нефтяного изобилия (цены превышали среднесоветские и раннероссийские втрое!), эта другая Россия лежит в руинах? Ведь потерпевшая поражение в войне Германия (ФРГ) уже к 1965 году, несмотря на оккупацию страшными американцами, превзошла по уровню жизни бóльшую часть Европы, а ее промышленность в основном вернула утраченные позиции. Почему же российская провинция, вроде бы никем не оккупированная, не стала жить лучше?

Причин много. Здесь и неумение управлять, и тотальное воровство, и вездесущий монополизм, но в том числе и серьезная ошибка в выборе политических приоритетов, выдвигание на первый план мессианской цели восстановления сверхдержавы.

Эта новая самодержавность возникла не на пустом месте. Пытаясь любыми средствами предотвратить геополитический транзит Украины, российский правящий клан попутно открыл для себя залежи полезного ископаемого, более прибыльного, чем даже нефть или газ, — под названием «величие России». С тех пор это, как кажется власти, неиссякаемое топливо добывается в России в промышленных масштабах. Оно стало идеальной заправкой для двигателя российской авторитарной власти.

По сути, в 2014 году в России произошла замена одного общественного договора другим. К старому соглашению «стабильность в обмен на свободы», действующему в России с 2003 года, Кремль сделал существенное дополнение — «величие взамен справедливости и достатка». Новый общественный договор звучит теперь так: величие и стабильность в обмен на свободы, справедливость и достаток. Величием России теперь оправдывают все мерзости режима — произвол, коррупцию, культурную деградацию, отсталость. Все это можно и нужно терпеть в обмен на возможность безнаказанно «кошмарить» Украину, гадить «америкосам» в Сирии и Ливии, размещать «наши» ЧВК по всей Африке и даже, по слухам, в Венесуэле.

Почему российское общество так легко пошло на эту сделку? Видимо, потому что оно было готово к такому повороту событий и даже ждало его с нетерпением. Показательно, что после возвращения Крыма большинство жителей России испытало настоящую эйфорию. Это была искренняя и неподдельная радость. Но случилась она не только потому, что люди увидели в присоединении Крыма восстановление исторической справедливости, а еще и потому, что они устали от поражений и соскучились по победам. Им показалось, что возвращается не Крым, а сама Россия — такая, какой они ее знали прежде. Это ощущение вернувшейся силы было для многих важнее, чем собственно радость от захвата Крыма, о котором до этого мало кто вспоминал — в основном

лишь затем, чтобы съездить туда на отдых (хотя многие, если есть возможность, давно предпочитают Египет и Турцию).

В такой реакции нет ничего удивительного. Много столетий Россия была империей и ее подданные воспитывались в имперской традиции. До сих пор большинству трудно даже представить, что имперскому мышлению существует альтернатива. Это не только российская проблема: другие бывшие Империи сталкивались и продолжают сталкиваться с аналогичными вызовами (яркая иллюстрация этого — недавние события в Британии вокруг брексита). Но в сегодняшней России, не так давно пережившей крах СССР, эти процессы оказались более разрушительными, чем где бы то ни было.

Рождение нового постсоветского мира протекало болезненно и сопровождалось тяжелыми испытаниями как для общества, так и для государства. Кроме естественных трудностей переходной эпохи, добавилось негативное влияние многочисленных стратегических и тактических просчетов руководителей новой России. В результате произошло резкое схлопывание экономики, а с ним — деградация институтов и, как следствие, криминализация всех сфер общественной и государственной жизни. В ту пору страна не просто потеряла значительную часть своих территорий, но и надолго перестала играть сколь-либо существенную роль в мировой политике, переместившись с ее главной сцены в партер.

Поражение центрального правительства в чеченской военной кампании и фиаско российской внешней политики на Балканах стали двумя мощнейшими стимулами, разбудившими имперскую ностальгию. И то и другое было воспринято обществом как национальное унижение. В итоге сформировался «версальский синдром» — подобное состояние общества было в Германии после поражения в Первой мировой войне.

Россия стала ошибочно воспринимать себя не с заслуженной гордостью, как страна, совершившая грандиозную революцию и покончившая с коммунизмом во всей Европе, а как государство, проигравшее «холодную войну».

Однако из этого неуникального постимперского кризиса можно было выходить по-разному — либо потратить все ресурсы на имитацию, создать иллюзию силы, видимость возрождения, за

фасадом которого прячутся развалины все того же старого общества, либо пройти через глубокую духовную, социально-экономическую и политическую трансформацию и стать сильными по-настоящему.

Те же немцы освоили оба варианта: по одной дороге они пошли после Первой мировой войны, что привело их к национальной катастрофе, по другой — после Второй мировой войны, что привело к возрождению нации. Первый путь устремлен в прошлое, это путь реванша и милитаризма, насильственной реанимации изживших себя исторических форм. Второй — устремлен в будущее, это путь переосмысления и поиска новых решений.

К сожалению, в России реализовался не конструктивный, а реконструктивный сценарий. В начале XXI века правящий клан навязал обществу первый путь — реваншистский — и стал торговать «эликсиром величия». Сверхдержавный дурман сработал: несколько лет общество пребывало в состоянии непрерывного психоза, упиваясь своим мнимым превосходством над другими народами и ощущением мощи, не существующей в реальности (особенно после просмотра знаменитых путинских мультиков о сокрушительном русском оружии). Однако усталость уже заметна, к тому же за все эти иллюзии Россия уже платит и будет платить в будущем непомерную цену.

Кремль хочет добиться величия России не развитием ее производительных сил, не расцветом образования и науки, не подъемом культуры, а исключительно с помощью грубой военной силы и ядерного шантажа. Он изощрен и изобретателен в ведении своей «скифской войны» без правил, которую принято называть гибридной. С этой целью он нещадно использует доставшийся ему по наследству от СССР военно-технический потенциал, которого хватит еще на двадцать — тридцать лет, то есть как раз до конца жизни нынешних правителей России. Что будет дальше — их не интересует. Но это должно заботить общество и ту часть элиты, которая способна смотреть выше горизонта собственной жадности и тщеславия.

Сегодня критика новоявленного посткоммунистического милитаризма осуществляется либо с общегуманистических (пацифистских) позиций, либо под углом зрения неисполнимости

(утопичности) кремлевских замыслов — в том смысле, что Россия не потянет войну против всего человечества и убьет себя, как это сделал СССР.

Это и верно в долгосрочной перспективе, и неверно в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе. В принципе, военные авантюры обходятся России не слишком дорого. Я могу с цифрами убедительно доказать, что пока военные провокации (за исключением Украины) не очень обременительны для России, что «инвестиции», например, в Сирию по русским меркам довольно скромны, что Венесуэла тоже пока укладывается во вполне подъемные деньги, а уж африканские эксперименты — и вовсе малобюджетный вариант.

Все это Россия вроде бы может себе позволить, не подрывая основ экономики, — тем более если нефть растет. Другое дело, что эта третья мировая войнушка, в которую правящий клан пытается втравить страну, опасна не текущими расходами, а тем, что исключает для России шанс вписаться в экономику XXI века и обрекает ее на медленную цивилизационную смерть в технологическом и социальном тупике истории.

Западные страны исключили нас из мирового разделения труда в качестве равноправного союзника и безопасного партнера. Китаю мы, как конкурент на технологическом рынке, куда он рвется сам, совсем не нужны. А в одиночку мы, естественно, не вытягиваем даже самый минимум необходимых технологий. Нас просто слишком мало!

В этом смысле сверхдержавность — опасный миф, эксплуатация которого противоречит реальным интересам формирующейся нации. Но, повторюсь, в ближайшей перспективе эти проблемы не угрожают стабильности режима.

Главный вопрос — это вовсе не вопрос цены, а вопрос смысла. Был такой старый советский анекдот: «Армянское радио спросило: можно ли в Америке построить социализм? Армянское радио ответило: можно, но зачем?» Так и с кремлевской войной. Может ли Россия тактически переиграть Запад и сделать себя полностью изолированной от внешних влияний автаркией наподобие Северной Кореи и при этом распространить свой контроль на все близлежащие территории? Ну, допустим, может — а зачем? Надо

смотреть не на то, что случится, если затея Кремля провалится, а на то, что будет, если у него вдруг все получится. Вот где будет настоящая катастрофа, ибо победа Кремля в этой логике — это поражение России, и наоборот.

Итак, цель Кремля — размежевать с Западом, а затем и с Китаем зоны влияния и распространить на соответствующие территории свой контроль, политический и военный, воздвигнув новый «железный занавес». Вопрос: зачем стране, у которой самая большая территория в мире (практически необжитая) и очевидный демографический коллапс на носу, нужны новые контролируемые земли? Ведь контроль неотделим от ответственности и затрат, материальных и людских. Может быть, ей нужны полезные ископаемые? Но России дай бог разобраться с тем, что у нее уже есть. Может быть, ей нужны рынки сбыта высокотехнологичной продукции? Но производить такую продукцию (даже военную) без кооперации с тем же Западом, от которого как раз предполагается закрыться «железным занавесом», Россия не может, а размежевание военными средствами такую кооперацию исключает. Так зачем же? В чем тут секрет?

В первом приближении ответ звучит так: сегодня Россией рулят люди с архаичным сознанием, застрявшие ментально даже не в прошлом, а в позапрошлом веке. У них довольно примитивное, крестьянское понимание целей политики, которое покоится на трех китах традиционной политической ментальности.

Во-первых, представление о том, что любые отношения с внешним миром — это игра с нулевой суммой: всегда есть «мы» и «они», и если «они» что-то выиграли, то «мы» ровно столько же проиграли, и наоборот. В такой игре нет оттенков, есть лишь черное и белое, компромиссы — тактическая уловка, альянсы — военная хитрость, и вообще: у России лишь два союзника — армия и флот.

Во-вторых, представление о том, что важнее всего территория. Это основа силы, богатства, влияния. Чем больше территория — тем лучше. Цель любого политика — прирастить территорию. В рамках этой политической философии потеря территории — трагедия, а приобретение — безусловный позитив. Историческую значимость правителя оценивают по-прежнему в зависимости от его территориальных приобретений или потерь.

В-третьих, весь мир в представлении кремлевских стратегов разделен на четкие сферы влияния. Сферы влияния — это что-то вроде продолжения территории, пространство, на которое пусть и ограничено, но продолжает распространяться суверенитет метрополии. Расширение сфер влияния есть безусловный императив внешней и внутренней политики государства. Все его функции должны быть приспособлены к достижению этой цели.

В эпоху постмодерна подобные традиционные взгляды подверглись существенной корректировке, но эта новость не успела дойти до Кремля.

Все основные игроки в современной политике и бизнесе уже давно играют по другим правилам. В их основе лежит не теория игр с нулевой суммой, а стратегия win-win, «уравнение Нэша» — теория, по которой в сложных системах ни одна из сторон отношений не может выработать успешную стратегию, если другие стороны не согласятся изменить свои стратегии. Иными словами, в современном мире никто не может достигнуть весомого успеха в одиночку, играя против всех. Наоборот, только научившись взаимодействовать и договариваться со всеми другими по правилам, которые ты и сам берешься выполнять, можно заметно улучшить свое положение. Современный мир — это соревнование внутри установленных границ в интересах всех игроков. Тех же, кто хочет играть без правил, выбрасывают из игры.

К тому же в XXI веке, при современных цифровых технологиях, захват территорий отнюдь не является абсолютным плюсом. Приращение может обернуться и существенным минусом, стать непосильным бременем. Расходы на поддержание порядка и систем жизнеобеспечения, на социальную и прочую инфраструктуру на оккупированной территории могут существенно превысить выгоды от приобретения.

Появились и давно эксплуатируются технологии, позволяющие собирать экономический урожай с чужих полей, не захватывая их при помощи военной силы. Размеры, число и высокий образовательный уровень населения агломераций становятся куда более важными показателями экономической и политической мощи, ибо свидетельствуют о большом потенциале страны. А вот с этим делом у нынешних российских стратегов совсем

плохо. Россия быстро обезлюдевает и интеллектуально деградирует из-за выпихивания лучших голов из страны, и чем больше «войнушек», тем стремительней идет этот процесс.

Наконец, в современном постмодернистском мире не осталось четких разграничительных линий и, соответственно, однозначных зон влияния. Одна и та же территория может находиться в зоне влияния нескольких стран и сама оказывать обратное влияние. Все относительно и все размыто. Внутри этих серых зон идет постоянная борьба и состязание. Как правило, попытка установить единоличный контроль над какой-нибудь зоной приводит к полной потере влияния в ней.

Самая яркая иллюстрация такой проигрышной стратегии — российская политика в отношении Украины начиная с 2014 года. Имея колоссальную историческую фору, Россия отказалась соревноваться с Западом за влияние на Украину и просто собственными руками превратила ее на десятилетия, если не навсегда, во враждебное государство — зону отчуждения между собой и Европой.

Означает ли это, что главным движущим фактором кремлевской политики является глупость? Лишь отчасти: еще более важную роль играет жадность. На самом деле правящий класс России не хочет воевать. За двадцать лет нахождения у власти его представители интегрировались в европейскую жизнь, как никто другой до них. Они вывезли в Европу детей, жен и любовниц, обзавелись недвижимостью и банковскими счетами, стали любимыми клиентами европейских банкиров и щедрыми меценатами европейских политиков. Их именами названы кампусы десятков европейских университетов, они владеют модными галереями и торговыми домами. Они не чураются инноваций, особенно вдалеке от российских границ. Да, они не хотят свободы для России, но готовы пользоваться чужой свободой (и безопасностью) на Западе. В этом вся загвоздка.

Акт Магнитского, возможно, стал даже в большей степени спусковым механизмом крестового похода Кремля против Запада, чем события в Украине. Так называемая война с Западом, ведущаяся от имени России, — это, по сути, война российского правящего класса за свои привилегии, и прежде всего за право

свободно тратить на Западе свои деньги. Это своего рода примитивный шантаж. Россия вооружается не для того, чтобы завоевать Запад (в Кремле понимают пределы своих возможностей), а для того, чтобы заставить Запад принять свои условия. Главное из них: вы не лезете в наши дела, не обращаете внимания на все, что у нас творится с правами человека и коррупцией, не мешаете нам тешить свои имперские амбиции в пределах зоны влияния приказавшего долго жить СССР и наслаждаться комфортом вашей европейской жизни.

А как это соотносится с национальными интересами России? Ответ: никак. Как понять, в чем они состоят? Давайте спросим себя: что мы хотим делать — бомбить Воронеж или восстанавливать Воронеж? Если бомбить, то нам ничего не нужно, тогда можно и повоевать с Западом. А вот если восстанавливать, пытаться сделать из города не Сталинград-1943, а подобие Монреаля, то нужно очень многое — и всему этому противостояние с Западом мешает. Нужны новые технологии, крупные инвестиции, ноу-хау и грамотный менеджмент, нужны качественно новое образование и медицина, нужна нормальная конкуренция, без которой выбраться из застоя в принципе невозможно. Все это достигается только путем интеграции в мировую экономику, а интеграция и война несовместимы.

Многие критики нынешнего режима впадают в другую крайность, полагая, что национальные интересы России — какая-то пропагандистская химера и даже само это словосочетание «нерукопожатно». Но национальные интересы России объективно существуют и нуждаются в защите. Просто они не имеют ничего общего с узкоклановыми интересами «группировки из Ленинграда», захватившей власть в России и осуществляющей ее тотальную милитаризацию. Действительный национальный интерес России — ее скорейшая интеграция в мировую экономическую систему и перестройка внутренней жизни (экономической и политической) таким образом, чтобы страна могла занять в этой системе достойное положение.

Все, что способствует сегодня достижению этой цели, соответствует национальным интересам России. Все, что затрудняет достижение этой цели и откладывает на потом назревшие преоб-

разования, противоречит этим интересам. Погоня за мнимым величием держиморды унижительна для истинно великой России, которой есть чем гордиться, помимо атомной бомбы.

Кремль и его приспешники хотят изолировать Россию от Запада, но при этом интегрироваться в западную жизнь в личном качестве. Для этого им нужен статус военной сверхдержавы. Национальные интересы России прямо противоположны: устранение изоляции страны и, наоборот, изоляция всех тех, кто пытается, угрожая войной, сохранить свои феодальные привилегии, в том числе право безнаказанно красть деньги дóма, а тратить их на Западе. Они хотят Россию закрыть, чтобы красть и обманывать вечно, а мы хотим Россию открыть, чтобы этого никогда больше не происходило.

Московия или Гардарика?

Независимо от того, быть ли России империей или национальным государством, сосредоточиться ли в будущем на обустройстве собственной жизни или израсходовать жизнь на реализацию очередной утопии планетарного масштаба, — перед грядущими поколениями особняком встанет вопрос о централизме российской власти. Должна ли российская политическая система оставаться строго централизованной, с максимальным сосредоточением едва ли не всех полномочий в единой точке, в руках московского федерального правительства, — или ее надо децентрализовать (возможно, даже искусственным путем) и создать, пусть и с большими усилиями, множество точек принятия политических решений согласно установленной компетенции на разных уровнях?

И то и другое возможно в рамках либеральной и демократической модели, так что вопрос не снимается сам по себе отказом от авторитарной системы. В теории и на практике демократическое государство может быть и сильно централизованным (Великобритания, Франция), и в значительной мере децентрализованным (США, Германия). Так что нам придется выбирать, что именно больше подходит для России, исходя из ее культурного

наследия и специфики новой уникальной исторической задачи, которую ей предстоит решать. И выбор этот отнюдь не прост и не однозначен. Не в последнюю очередь потому, что он идет поперек глубоко укорененной политической традиции.

Дело осложняется тем, что централизм — священная корова русской политической ментальности. Покушение на него чревато рисками. Россия во всех трех предшествующих цивилизационных ипостасях (Московия, Империя и СССР) была гиперцентрализованным государством. Традиция положена Московией, усилена петровской империей и доведена до предела империей коммунистической. Замечу, что ни в девяностые, ни в нулевые ничего существенно не изменилось. То есть историческое движение на протяжении последних пятисот лет было только в сторону еще большей централизации, но никогда не вспять. В этом смысле, несмотря на многократную смену эпох, Россия по-прежнему остается Московией.

Укорененный в массовом сознании, централизм как политический принцип парадоксальным образом объединяет и сторонников, и противников нынешнего российского режима.

Фанатов максимальной централизации власти, ее сосредоточения в руках национального правительства (то есть в Москве) ничуть не меньше среди противников режима, чем среди его апологетов. И хотя мотивы у этих политических сил совершенно разные, но к идее децентрализации власти они относятся с одинаковым скепсисом и подозрительностью.

Для правящего Россией клана централизм — это вопрос качества контроля над ситуацией, вопрос сохранения политического и экономического статус-кво. Для него гиперцентрализация — это инструмент подавления любых угрожающих сложившемуся политическому укладу вызовов и местных возмущений. Естественно, что для него централизм — главное условие сохранения стабильности режима, зависящего целиком и полностью от эффективности работы централизованного репрессивного и пропагандистского аппаратов. Это также вопрос управления ресурсами, необходимыми для содержания этого аппарата.

Для оппозиции централизм — это гарантия защиты граждан от произвола местных элит, которые представляются ей оплотом

реакционной политики. В исторической памяти еще не стерлись итоги эксперимента юного царя Ивана IV (впоследствии Грозного) по внедрению начал местного самоуправления. Тогда вместо воевод власть на местах захватили крепкие мужики-горланы, произвол которых оказался хуже всего того, что народ привык терпеть от царских воевод. В результате эксперимент пришлось прервать в начальной фазе.

Может быть, и поэтому многие идеологи русского либерализма придерживались мнения, что децентрализация власти в России неизбежно превратит ее в «большую Кущевку», нечто вроде конфедерации полукриминальных княжеств, в каждом из которых установится авторитарный бандитский микрорежим. По их мнению, противостоять этим губительным процессам может только прогрессивная доминирующая роль центральной власти в лице федерального правительства, находящегося под контролем правительных политических сил, то есть победивших либералов-западников.

Поэтому ряд российских либералов выступают, как и реакционеры, за сохранение жесткой централизации. У них главное разногласие лишь в том, кто должен контролировать единый центр и какие сигналы этот центр должен посылать на места. По мнению лоялистов, централизованная власть должна обеспечивать стабильность и тормозить изменения, а по мнению части либералов и демократов, она должна быть продвигать сверху вниз необходимые стране реформы.

Аргументацию либеральных сторонников централизма можно было бы считать весьма убедительной, если бы не одно «но»: в столь огромной стране, как Россия, централизм рано или поздно, но неизбежно порождает авторитаризм.

Не выходит долго поддерживать в стране работоспособную модель демократии, сохраняя при этом высокую степень централизации власти. Какой бы либеральной изначально ни была централизованная власть победивших «прогрессивных сил», через короткое время она ею быть перестает и снова становится авторитарной.

Причина, по которой сохранение в России гиперцентрализации порождает воспроизводство авторитарной модели, доста-

точно очевидна. Централизм предполагает необходимость постоянного перераспределения ресурсов в пределах огромной страны (иначе у него просто не будет материальной основы). Это означает обслуживание огромных финансовых потоков, для чего необходим огромный бюрократический аппарат. А он, в свою очередь, неизбежно нависает над обществом, не имеющим средств контроля над ним и инструментов защиты от него.

Цепочка простая: централизация — перераспределение ресурсов — огромный обслуживающий аппарат — подавление гражданского общества.

Иными словами, и это очень важно, в российских условиях централизация неизбежно порождает самодержавие, и наоборот.

С какими бы инновационными идеями ни приходили к власти в России «революционеры-централисты», они скатывались и будут скатываться в одну и ту же наезженную историческую колею: навязывание изменений сверху — создание мощного аппарата централизованной власти — необходимость концентрации ресурсов для обслуживания этого аппарата — превращение аппарата в силу, помыкающую обществом, — формирование авторитарного (в лучшем случае) режима — необходимость новой революции.

Возникает вопрос: как вырваться из этого замкнутого круга, как избавиться от авторитаризма централизованной власти и не стать при этом заложником власти местных бандитских кланов?

Ответ вроде бы лежит на поверхности: децентрализовать власть, усилив контроль со стороны общества. Что означает баланс и разделение властей, мощную оппозицию с гарантиями ее участия в контроле за властью, независимые СМИ.

Но как это сделать в стране, у которой почти не было подобного политического опыта по крайней мере последние пятьсот лет?

Пожалуй, децентрализация политической системы — наиглавнейшая из всех политических задач, стоящих перед той коалицией сил, которая не на словах, а на деле стремится к демократическим преобразованиям в России.

Однако задача эта очень сложна: невозможно одним прыжком преодолеть пропасть и оказаться сразу в децентрализованном раю. В российской политической системе накопилось слишком

много архаичных наслоений, слишком трудно привести их к единому знаменателю, и велик риск того, что в погоне за идеальным можно оторваться от реальности и свалиться в пропасть. Но и не прыгать нельзя, ибо рано или поздно вся эта архаика разорвет страну по швам.

Поэтому двигаться надо сразу двумя эшелонами: готовить почву для «тектонического» сдвига и принимать временные, компромиссные меры — пусть и несовершенные, но все же отчасти решающие проблему.

Но что может быть прообразом для этой новой системы? Ответ, как ни странно, можно найти в давнем прошлом России, еще более далеком, чем привычная точка отсчета истории российской государственности — Московское царство.

Сегодня силы реакции, объединившись, толкают нас в прошлое и видят свой идеал в государстве, созданном московскими князьями. Но наша история не исчерпывается «татарщиной» и созданной на ее основе Московией. Была и другая Русь. Она была страной самоуправляемых и весьма независимых городов — Гардарикой (в былинные времена так называли ее пришедшие с Севера викинги). И хотя потом эти города потерялись на бескрайних просторах русской цивилизации, именно Гардарику нам нужно сегодня поставить на место Московии как принципиально иную систему государственного устройства, альтернативную жесткой централизации.

Города всегда были краеугольными камнями развития европейской цивилизации — и по сей день остаются главными точками роста новой всемирной универсальной цивилизации. Но теперь речь идет не просто о городах, а о мегаполисах, где компактно проживают миллионы людей. Именно мегаполисы как принципиально новый формат социальной организации превратились сегодня в двигатели мировых технологических, экономических и вообще культурных перемен.

Стратегически, уже в среднесрочной исторической перспективе, Московия с ее единственным доминирующим центром принятия политических решений должна быть преобразована в мегаполисный политический мультицентризм.

То есть в идеале основу государственного устройства России должен составить политический союз городов-мегаполисов. Это

резко расширит границы политического класса и выведет его за пределы МКАД.

Существенное отличие современного мира от прошлых веков состоит в уменьшении числа точек роста и сосредоточении их в крупнейших мегаполисах, где имеется достаточная для этого концентрация людей и инфраструктуры (мегаполис — пространство относительно компактного проживания людей, где до центра можно добраться быстрее чем за час). Окружающее пространство при этом преобразуется в сервисное поле вокруг этих точек роста. В перспективе именно на развитие в России городов-мегаполисов с населением от трех — пяти и до пятнадцати — двадцати миллионов человек как раз и должен быть сделан упор.

Вопрос не только технический, а скорее политический: сколько таких центров необходимо и сколько мы можем себе позволить? В этом суть перспективного стратегического планирования (если, конечно, мы не согласны просто плыть по течению реки времени, а хотим управлять своим движением).

По моему мнению, таких центров в России может быть не более двадцати. На большее элементарно не хватает населения. В будущем мегаполисы станут территориальными центрами: столицами новых структурных образований — земель.

Речь идет о создании новых экономических и политических единиц — кирпичиков новой России, которая будет строиться снизу вверх, а не сверху вниз, как до сих пор. Эта новая сетка когда-нибудь заменит существующее областное (республиканское) деление.

Убежден: на каком-то этапе исторического развития нам в любом случае потребуется радикально изменить нынешнее территориально-государственное деление России, частично корнями уходящее в древнюю историю страны, а частично ставшее результатом волюнтаристских решений и сиюминутных интересов.

Возможно, нам вообще придется отказаться от губернского-областного деления, каким мы его знаем уже почти три века. Это деление возникло естественно-историческим путем, стихийно, в процессе непрерывной русской колониальной экспансии. Оно закрепляет неравномерность развития, фиксирует мирное сосуществование между богатыми регионами, каждый из которых

мог бы стать отдельным европейским государством, и бедными регионами, живущими лишь за счет дотаций из центра и абсолютно не готовыми к самостоятельной жизни не только в экономическом, но и в самом широком культурном смысле слова.

Да, в мире нет ни одной страны, где все регионы выстроены под линейку: везде есть контраст — лидеры и аутсайдеры. Но всему есть мера. Нельзя надолго впрячь в телегу современной нации-государства постиндустриального коня и трепетную родо-племенную лань. Нивелирование уровней развития регионов, подтягивание аутсайдеров к лидерам — абсолютная политическая необходимость. Подтягивание самых отсталых регионов, пока неспособных исполнять политические функции субъекта федерации и по факту не являющихся такими субъектами, — тяжелая, но неизбежная задача.

Однако с наскака это не сделаешь. Ситуацию надо подготовить, развивая мегаполисы как потенциальные (перспективные) административно-политические и экономические центры, готовя их к новой роли, и начинать надо с качественного, настоящего университета, задающего и формирующего уровень будущего мегаполиса. На эту работу уйдет немало времени.

Но что же делать сейчас? Ведь если положиться только на перспективный рост мегаполисов, то до светлого будущего можно попросту не дожить. Программа глубинной реструктуризации территориально-государственного устройства России может занять десятилетие, а то и больше. Если на все эти годы структура власти останется такой же централизованной, как сейчас, то никакой перспективы вырваться из плена авторитаризма и экономического отставания у России не будет. Значит, параллельно с выстраиванием совершенно новой системы надо заниматься и реформированием системы существующей — по временной схеме.

Как подступиться к существующей реальности? Истории известны два главных инструмента эффективной децентрализации власти — самоуправление и федерализм. Оба пока мало исследованы в России. Хотя формально они упомянуты в Конституции, но в действительности не применяются и служат лишь бутафорскими украшениями политической системы. И мы можем только

догадываться, как будут действовать в России настоящее самоуправление и настоящий федерализм.

Россия никогда не была реально федеративным государством. Федерация была политической формой легитимации частичной автономии колоний по отношению к метрополии. Федеративная модель в России никогда не работала, и никто толком не знает, может ли она работать здесь в принципе. В СССР она была эффективна лишь постольку, поскольку наряду с показной федеративной моделью советской власти действовала страшущая ее жестко централизованная машина партийной власти (*realdeerp state*), на которую федеративный принцип не распространялся.

Самоуправление в России имеет вроде бы серьезные корни и в досоветский период играло важную вспомогательную роль на низовом уровне управления Империей (в сельской местности). С середины XIX века стали развиваться и более сложные формы самоуправления (земства). Но в советский период всякое самоуправление было уничтожено, и традицию можно считать прерванной. В постсоветский период ничего нового здесь создано не было. Поэтому и переход к самоуправлению надо начинать с базового нулевого уровня.

Тем не менее что-то является базой, от которой надо отталкиваться, а что-то — элементом мягкой политической доводки, настройки. На мой взгляд, ключевое условие, которое затруднит сваливание в наезженную колею авторитаризма, — опережающее развитие местного самоуправления. А вот развитие федерализма станет дополнительным, вспомогательным фактором. Причина в относительной легкости выстраивания общественного контроля над структурами власти шаговой доступности и создание на этой базе демократической традиции.

Основными подходами к развитию местного самоуправления должны быть защищенный бюджет и компетенция. Понятие совместная, или смешанная, компетенция — это от лукавого. Это серая зона, где всегда выигрывает центр. Самоуправление, конечно же, предполагает и ответственность. Это политическая технология замкнутого цикла: четко определенная компетенция, собственная доходная база, управление — выбранными должностными лицами, отвечающими за результаты управления

перед выборщиками, и ответственность самих выборщиков перед собой за собственные ошибки, которую нельзя переложить на вышестоящий уровень.

Очевидно, что регионы, как и люди, не равны и в такой огромной стране, как Россия, без перераспределения ресурсов не обойтись. Но делать это надо не скрытно, не через запутанные статьи общего федерального бюджета, а через абсолютно прозрачный, единый фонд развития регионов. Как сделать его прозрачным — отдельный вопрос.

Доступ к субсидиям должен быть справедливым и стимулирующим собственное развитие. Субсидии — не предмет политического торга и не способ оплаты «правильного» голосования.

С помощью опережающего развития местного самоуправления гнилая палка власти преобразуется в пирамиду — и самоуправление станет основанием этой пирамиды. То есть вся нынешняя система будет поставлена с головы на ноги. Люди должны научиться решать проблемы на том уровне, где они возникают. Ни одна демократия в мире не существует без этого базиса. Правило простое: своя компетенция, свой бюджет, свое избранное руководство.

Другой полюс — это вершина пирамиды, центральная власть. Центральная власть должна быть функционально субсидиарной (дополняющей) по отношению к местному самоуправлению, а не наоборот: она не решает проблемы на местах вместо органов местного самоуправления, а устанавливает правила игры и следит за их неукоснительным соблюдением. Иначе в фундаменте пойдут трещины и возникнут те самые бандитские анклавы.

Кроме того, центральная власть решает национальные (общие) проблемы, для чего у нее есть своя собственная защищенная компетенция и свой достаточный ресурс, в том числе — централизованный бюджет. Центральная власть в России должна быть очень сильной, чтобы удерживать правила и порядок «на поле», но она должна быть ограничена таким образом, чтобы у нее не было соблазна приватизировать поле и съесть компетенцию местного самоуправления.

И здесь возникает дополнительная проблема. Если центральная власть слишком слаба, она не удержит страну. Но если центральная власть слишком сильна, она подавит местное самоуправление, подомнет его под себя.

Чтобы отрегулировать силу центральной власти, чтобы она не могла сломать установленный порядок, де-факто отобрав полномочия у органов местного самоуправления, ее надо искусственно уравновесить изнутри дополнительным (горизонтальным) сечением разделения властей. Этот встроенный в центральную власть дополнительный регулятор и есть федерализм. В такой огромной стране, как Россия, он необходим именно для того, чтобы лучше соблюдался баланс между центральной властью и самоуправлением.

Сам смысл слова «федерализм» сегодня сильно замутнен многолетними наслоениями советской пропаганды.

Федерализм — это специальный механизм организации государственной власти, где наряду с вертикальным сечением (классическое разделение властей) есть дополнительное горизонтальное сечение, так называемая конституционная сделка, которая предоставляет возможность этим двум уровням государственной власти действовать на одной территории, но полностью автономно (то есть устанавливая собственные правила) в одной или нескольких сферах компетенции.

У федерализма, о котором идет речь, нет ничего общего с нынешним фейковым федерализмом. В будущем он будет привязан к мегаполисам как центрам новых субъектов. Но начать надо с реформирования отношений в рамках существующего государственно-территориального деления.

В будущем мегаполисы станут столицами земель, обладающих необходимыми административными и политическими атрибутами региональной субстолицы, с привязанной к ней нарезкой судебной системы, военных округов и так далее. Земли будут иметь собственное законодательство в рамках доставшейся им компетенции. Приблизительный перечень земель и их столиц можно спрогнозировать уже сегодня, ориентируясь на сложившиеся тенденции развития регионов. Их можно готовить к своей новой роли, в том числе и проводя

целенаправленное и системное укрупнение существующих субъектов федерации.

В России жизнеспособной может быть только объемная система — только треугольник: сильное центральное правительство, мегаполис как региональный субцентр и сильное местное самоуправление. Если выпадет одно или другое звено и система станет плоской, а не объемной, то она неизбежно сорвется либо в традиционный авторитаризм, либо в смуту с угрозой распада государственности на атомы. Базовый из этих трех элементов — самоуправление. Основой самоуправления должны быть защищенный местный бюджет и компетенция.

Старая модель управления Россией — это и есть Московия, страна одного города-государства. Новая модель, необходимая России, чтобы стать современным государством, — это и есть Гардарика, страна многих городов, берущих власть в свои руки. Гардарика против Московии — вот спор, который в конечном счете во многом решит судьбу России.

Демократия или Опричнина?

А зачем, собственно, если вдуматься, нужна демократия, то есть система власти, основанная на регулярных всеобщих выборах и разделении ветвей власти? Зачем это нужно вообще, и России в частности?

Ответ вовсе не очевиден — или, скажем так, очевиден не для всех. В российской либерально настроенной оппозиционной среде бытует мнение: мол, все и так прекрасно понимают, что демократия — это хорошо, а кто не понимает — тот притворяется. Но это глубокое заблуждение.

Ведь даже в самой либеральной среде встречаются ярые антидемократы, убежденные, что демократия — это удел избранных. А уж в нелиберальной среде противники демократии в России вообще преобладают, просто не все из них высказываются на эту тему определенно, предпочитая отмалчиваться. Поэтому вопрос, должна ли Россия быть по-настоящему демократическим государством, до сих пор остается открытым.

Проще всего было бы списать «демоскептицизм» на косность или малокультурность, но все обстоит гораздо сложнее.

Во-первых, среди противников демократии немало высокообразованных интеллектуалов, а не только оболваненные режимом обыватели.

Во-вторых, есть много реальных проблем в функционировании современной демократии, которые сегодня дискредитируют ее в глазах людей с самыми разными политическими взглядами.

В-третьих (и это, пожалуй, самое главное), в России демократический опыт — мизерный, тогда как противоположный ему опыт авторитарного правления обширен и по инерции внушает многим гораздо больше доверия.

При этом надо иметь в виду, что Россия — это атипичная диктатура. Русский авторитаризм по-своему уникален и не раз демонстрировал свою способность к модернизации. По мере эволюции российская политическая система сформировала собственный оригинальный ответ на вызовы истории, который можно условно назвать перманентной опричниной. Эта система не так примитивна, как многим кажется.

Суть опричнины — в разделении власти на внешнее и внутреннее государство, где внутреннее государство контролирует внешнее и является скрытой политической силой.

Изобретенная еще Иваном Грозным, опричина претерпела множество видоизменений. Внутреннее государство называлось в разные времена по-разному (двор, компартия, кооператив «Озеро»), но суть оставалась прежней: на регулярное государство, поверх всех его законов и институтов, накладывалась сетка неформальной власти, не прописанной никакими законами, — власти «надсмотрщиков», стоящих над законом и живущих за счет привилегий. Это специфическое российское «Вечное Средневековье» — меняющееся, постоянно приспособляющееся к новым условиям, но так никуда до конца и не исчезающее.

В историческую память народа вшито представление о магической силе этого средневековья, и люди помнят, что попытки уйти от привычной парадигмы заканчивались каким-нибудь смутным временем.

Здесь не надо никакой пропаганды, это первая «рабочая» ассоциация российского массового политического сознания. Поэтому феномен повторного увлечения сталинизмом, о котором сегодня много спорят, нельзя воспринимать упрощенно, лишь как следствие оболванивания людей телевизором. У него довольно

глубокие корни, не говоря уже о том, что у значительной части общества симпатии к Сталину и его методам управления страной сохранялись даже во времена самого разгула демократии. Конечно, эта часть общества отнюдь не всегда вела себя так же агрессивно и беззащитно, как сегодня, но своим принципам она не изменяла ни на йоту.

В основе таких стойких симпатий — вера в эффективность сталинских методов управления, особенно если необходимо быстро мобилизовать ограниченные ресурсы для достижения конкретного результата.

Весомая часть общества в России и сегодня убеждена в наличии у сталинизма модернизационного потенциала — и это реальность, с которой приходится считаться. Разговоры о Сталине и даже Иване Грозном как об эффективных менеджерах велись в России задолго до появления Путина, просто им не придавали значения, отмахивались как от ерунды. Выясняется — напрасно. Нужны не эмоции, а аргументы. Пока первых больше, чем вторых.

Возражения по существу, которые либеральная часть общества выдвигает против сталинизма, а значит — в пользу демократии, сводятся в основном к двум позициям: этической и экономической. Этическая позиция напоминает о цене вопроса — миллионах жизней, которыми была оплачена сталинская «победа». Экономическая позиция констатирует: уже полвека спустя страна распалась на части, не в последнюю очередь потому, что явно отстала в своем экономическом развитии от демократических стран.

Аргументы этического порядка сталинисты обычно парируют тем, что демократия тоже отнюдь не всегда являлась на свет в белых одеждах: мол, и демократические революции нередко сопровождались массовыми жертвами. На аргументы экономического порядка сталинисты отвечают, что роковое отставание произошло потом, уже в постсталинскую эпоху.

Кому-то может показаться, что они правы и модернизационный потенциал тоталитарного общества по-настоящему безграничен. Но это впечатление быстро улетучится, если принять в расчет длительные исторические циклы.

Действительно, и Петр I, и Сталин достигли некоторых экономических высот, взнуздав страну. Но уже к концу их жизни, через одно-два поколения после начала реформ (то есть через двадцать — сорок лет), начиналась непреодолимая стагнация, корни которой уходили именно в «эпоху великих побед». В конечном счете эти «победы» — как следствие революции — и оказывались причиной системного отставания. Из-за авторитарной природы модернизаций Россия развивалась от революции к революции, по алгоритму «шаг вперед и два шага назад». И с веками маятник потрясений раскачивался только сильнее. Сравнить надо не авторитарную модернизацию с архаикой, как это у нас обычно делается, а эффективность авторитарной и неавторитарной модернизаций на длительных отрезках времени.

Там, где господствовала демократия, развитие шло более равномерно, с меньшими колебаниями исторического маятника, что на больших отрезках времени давало обществу огромную фору. Терпение людей не истощалось под гнетом автократии, не выплескивалось в кровавую гражданскую, не превращалось в истощающую апатию под бессменным правлением геронтократических лидеров, а просто одни политики мирно менялись на других, один политический курс сменял другой, и общество галсами шло против ветра различных жизненных невзгод.

В итоге при всех жертвах, положенных на алтарь авторитарной модернизации, Россия каждый раз, снова и снова, оказывалась в положении догоняющей. В этом положении она находится и сейчас. Стратегически, глядя не себе под ноги, а вдаль, на долгую историческую перспективу, для России альтернативы демократии не существует. Иначе рано или поздно очередной размах революционного маятника просто уничтожит Россию как государство. Амплитуду этого маятника можно погасить только с помощью демократии. Но вот вопрос: какая именно демократия нужна нашей стране и как ее выстроить с минимальными издержками?

Задачу придется решать сразу на двух уровнях. Во-первых, России необходимо выстроить демократический фундамент — сделать то, что уже давно сделано в западной части Европы. Но не только наверстать упущенное, а учесть и те новые вызовы, ответы на которые ищут современные западные демократии, ис-

пытывающие сегодня серьезные затруднения. Нельзя сначала создать демократию образца XIX века (а именно это все и пытаются делать) и тут же начать ее перекраивать.

Демократическая «классика» нормально уже не работает нигде: ее время ушло. В информационном обществе бессмысленны и бесполезны механизмы политической мобилизации, изобретенные в середине XIX века. Мы каждый день видим, как стагнирует партийная система, неспособная более исполнять свои функции. В России придется сразу строить демократию XXI века, перепрыгивая две ступени за один раз и доказывая правоту евангельской заповеди о последних, которые могут стать первыми.

Что значит «создание фундамента демократии» в России? В мире есть сотни определений демократии и десятки разных ее теорий. Не стану пытаться сформулировать принципиально новый взгляд на предмет или повторять какие-нибудь банальности. Так или иначе, демократическим будет признан тот строй, где в принятии политических решений последнее слово принадлежит обществу, включая все его меньшинства. Не части общества, имеющей право голоса по некоему цензу (материальному, образовательному, этническому и так далее), а всему взрослому и дееспособному населению страны.

В этом отношении демократизм стран, где имеется слишком много «неграждан», всегда будет оставаться для меня под вопросом, несмотря на все исторические предпосылки такого положения вещей.

Сразу оговорюсь, что речь идет не о воссоздании, а о создании такого строя впервые в истории России — здесь, у нас, право решающего голоса обществу фактически не принадлежало никогда. Ни в самые «вегетарианские» давние времена (включая короткий период между Февральской и Большевицской революциями: не будем путать анархию с демократией как организованным процессом), ни в такие спорные годы недавней истории, как девятые.

Отсутствие ярко выраженных политических репрессий является необходимым, но отнюдь не достаточным признаком демократии.

Российская политическая система была в конце 1993 года (после вооруженного столкновения со сторонниками Верховного Совета) абсолютно осознанно сконструирована таким образом, чтобы вывести фигуру Президента за рамки провозглашенного, но так и не реализованного в жизни разделения властей. В этом плане Конституция посткоммунистической России не ушла далеко от «конституционных законов» самодержавной Империи. Все это в итоге и привело к тотальной деградации государственности в России: к сосредоточению власти в руках президента и его окружения, а впоследствии — к восстановлению неототалитарного режима.

Итак, основополагающий вопрос при создании в России демократии — как втолкнуть верховную власть в систему разделения властей, включить ее в общий баланс сдержек и противовесов, поставить *deep state* под контроль общества, а то и вовсе ликвидировать его сакральное значение. Это чисто институциональная задача, которая может и должна быть решена конституционно-правовыми методами в рамках общей политической реформы.

Возможно, на данном этапе лучший способ ее решения — переход к парламентской демократии. Так или иначе, в России не должно оставаться политической институции (как бы она ни называлась), которая возвышается над всеми другими ветвями власти и имеет полномочия, не уравновешенные симметричными полномочиями других ветвей. Только в этом случае «золотая акция» демократии останется у общества, а не будет экспроприрована группировкой, близкой к верховному правителю.

Но даже если реализовать столь глубокую институциональную реформу на практике, сделает ли это Россию успешным и демократическим государством?

Ответ не выглядит простым: демократическим — да, успешным — нет. Причина такой неоднозначности — в тех системных вызовах и сбоях, с которыми демократия сталкивается сегодня повсеместно: не только в России, а во всем мире, в том числе и на Западе — в своей альма-матер. Просели прежде всего электоральные механизмы, в основе которых — работа партийных машин. В условиях развитого информационного общества пар-

тии перестали быть единственными и даже главными инструментами политической мобилизации.

В наши дни такими инструментами стали компактные и мобильные группы активистов, не имеющие широкого представительства в массах, но способные при достаточном ресурсном обеспечении очень быстро установить с ними контакт через современные медиа и направить движение масс в желательном для себя направлении.

При этом возможные источники ресурсного обеспечения в современном мире весьма диверсифицированы и с трудом поддаются публичному контролю даже в обществах с устойчивыми демократическими традициями и стабильными государственными институтами.

Значение этих перемен в функционировании демократии неоднозначно. С одной стороны, они делают политическую систему более динамичной, адаптивной и, естественно, открытой. С другой — открывают широчайшие возможности для манипуляции общественным сознанием, провоцируют нездоровый популизм и тем убивают саму суть электорального процесса. Пока не очень ясно, как научить демократию работать в принципиально новых условиях. Одно ясно совершенно: если выстроить в России лишь демократию вчерашнего дня, то, вопреки всем усилиям и понесенным жертвам, она не заработает и весь проект окажется провальным, еще не начавшись. А сама идея демократии дискредитируется еще больше.

Выходит, что у России нет иного выбора, кроме как попытаться стать не просто демократическим, а самым передовым демократическим обществом, при созидании которого задействованы новейшие политические технологии. Трудность в том, что подсмотреть, как это делается у других, тоже особенно нелегко. Мы обречены вновь стать страной социального и политического творчества. В который раз! И происходит это не по нашей собственной воле. Просто у других есть возможность потянуть время, поэксплуатировать имеющийся политический капитал, а у России такой возможности нет: нам и так и так надо строить демократическую систему почти с нуля, а значит — совершенно по-новому, на свой страх и риск, полагаясь больше на свою ин-

туцию, чем на чужой опыт. Эту проблему недооценивают некоторые российские либералы-западники, слишком догматически относящиеся к подходам, наработанным в Европе.

Кроме обязательной программы демократии, сводящейся в первую очередь к грамотному исполнению институциональных реформ, призванных разрушить российское самодержавие системой разделения властей, Россию ждет большая демократическая произвольная программа, от качества исполнения которой в значительной мере и зависит общий успех. И эта программа не будет простой. Степень сложности демократической системы должна быть адекватна степени сложности современного общества.

Позволю себе аналогию. И в мелком торговом предприятии, и в гигантском международном концерне действует один и тот же принцип: акционеры (участники) принимают главные решения большинством голосов. Но механизм реализации права большинства у этих фирм разный. Гигантский многопрофильный концерн не может управляться так же, как маленькая лавка. В нем заложено множество специальных механизмов, предотвращающих возможность совершения большинством ошибок (на деле довольно частых), эти механизмы гарантируют права меньшинства, но мешают ему тормозить работу предприятия и злоупотреблять своими правами.

Так же и в государстве: демократия — это очень сложная система (возможно, более сложная, чем авторитарная власть), причем это всегда «индпошив» под конкретную страну и исторический момент.

Сделать такую работу для огромной, территориально, культурно, природно-климатически разнообразной России непросто. Отсюда и мысль, что надо экспериментировать с парламентскими формами, допускать асимметрию и, конечно, выводить как можно больше решений вниз, децентрализовать все, что поддается децентрализации. Надо исходить из того, что реальной, классической партийной системы в России как не было, так уже никогда и не будет. Стало быть, электоральный механизм мы выстроим вокруг чего-то другого — того, что приходит ныне на смену традиционным партиям.

Ко всему этому надо готовиться сейчас, незамедлительно разворачивая дискуссию о политической форме будущей российской демократии, не откладывая поиск решений на потом, потому что потом времени уже не будет. И это должны быть не пустые заклинания о пользе демократии и не треп о ее общих принципах.

Это должен быть разговор о деталях, с привлечением экспертов и максимально широкого круга заинтересованных: ведь именно в демократических деталях прячется авторитарный дьявол. Его то мы и просмотрели в «самой лучшей» Конституции 1993 года. Нельзя, чтобы эта ошибка повторилась.

Монополия или Конкуренция?

Стоит произнести слово «монополия», а тем более — «конкуренция», как все, кто не имеет отношения к экономике или бизнесу, теряют интерес к теме: ну вот, опять двадцать пять! Естественные монополии, неестественные привилегии... Сколько можно?! Всем же всё (как всегда, впрочем) и так ясно: монополия — плохо, конкуренция — хорошо. Зачем толочь воду в ступе? Но, оказывается, есть за чем. Монополия и конкуренция — это вовсе не об экономике, точнее и об экономике тоже, но лишь чуть-чуть. Это, скорее, об образе жизни и о способе мышления. По сути, речь идет о двух разных взглядах на общественное устройство в целом — а значит, это и о политике, и о социальной сфере, и об идеологии.

Есть некий закон сообщающихся социальных сфер: если у нас монополия в экономике, то рано или поздно наступает авторитаризм в политике, патернализм в социальных отношениях и какой-нибудь тоталитаризм в идеологии. Это происходит потому, что и монополия, и все сопутствующие ей социальные и политические состояния — следствие определенных социокультурных доминант. Свойственных, в частности и в особенности, российскому обществу. Настоящая демонополизация возможна только

при изменении этих доминант, иначе мы просто заменим одну монополию другой.

Монополия и конкуренция — не абсолютные противоположности, не полные антагонисты, как многие упрощенно себе представляют. И в то же время они обречены на вечное противостояние, нельзя полностью устранить ни монополию, ни конкуренцию. Они лишь способы борьбы порядка с хаосом. Это инструменты организации социального пространства. В чем-то хорош один, а в чем-то другой.

Возьмем, например, монополию государства на легальное насилие. Сегодня — общепризнанная правовая норма, но в исторической ретроспективе это совсем не так, а в исторической же перспективе, судя по расширяющейся сфере применения всяческих вагнеров, — кто его знает.

В практическом плане есть две стратегии борьбы с хаосом: путем его заморозки с помощью иерархии (вертикали) власти — жесткий подход, и путем его организации (маршрутизации) с помощью правил движения — мягкий подход.

Именно поэтому нельзя путать конкуренцию с войной всех против всех: организованная конкуренция призвана, как и монополия, бороться с этой войной, но иными средствами.

Монополии всегда в той или иной степени естественны. Укрупнение капиталов и связанное с этим укрупнение производства вызвано в первую очередь потребностями повышения производительности труда. Во всяком случае, до самых последних лет производительность труда росла по мере укрупнения бизнеса. Это связано с множеством причин, и не в последнюю очередь с тем, что в рамках крупного предприятия легче сформировать алгоритмы труда и внедрить систему контроля, позволяющую исправлять ошибки исполнителей. Разумеется, такие обстоятельства, как концентрация ресурсов и связанная с этим стрессоустойчивость, тоже имеют значение.

Даже самые продвинутые стартаперы, как правило, видят успех своего детища в его продаже одному из транснациональных гигантов.

Но одновременно по мере развития монополий эта же самая производительность труда начинает снижаться, так как пропадают

стимулы к усовершенствованию производственного процесса — зачем что-то менять, когда и так хорошо. А в результате чуть раньше или чуть позже любой гигант перестает быть эффективным.

Таким образом, укрупнение бизнеса играет положительную роль, когда оно находится под контролем, и отрицательную — когда оно выходит из-под контроля. Самый простой способ поставить монополию под контроль — развивать конкуренцию, то есть заставлять субъектов крупного бизнеса соревноваться между собой, оставаясь в рамках строго установленных правил, за соблюдением которых следит государство-арбитр.

Подходы здесь более или менее известны и универсальны. После того как та или иная монополия начинает контролировать более тридцати процентов рынка, настает время вводить наблюдение, чтобы предотвращать злоупотребления. При достижении уровня шестидесяти процентов рынка надо принимать меры по снижению доходности монополии, стимулируя других производителей товаров и услуг. Все это напоминает бесконечную борьбу с оледенением — надо непрерывно сбивать слишком большие сосульки.

Монополизация на рынках — это своеобразный герпес: победить нельзя, но можно держать в подавленном состоянии за счет хорошо работающего политического и экономического иммунитета. Но, в отличие от герпеса, укрупнение — не болезнь, а естественная эволюция, и его нельзя не использовать.

Формы при этом бывают разные, необязательно такие прямые, как в Европе и США. Например, в Корее существует монополия «Самсунг», которую государство, можно сказать, крышует. Но это же самое государство ставит «Самсунгу» жесткие условия, требуя, чтобы не менее шестидесяти процентов продукции шло на внешний рынок. И если условия не выполняются, то следуют жесткие санкции. Такую политику можно назвать заместительной терапией конкуренции. Другими средствами, но проблема контроля над монополией решается.

Ситуация резко меняется, когда частная монополия становится государственной и оказывается в руках госкорпораций. В этом случае ни рыночная, ни заместительная терапия больше не работают, а конкуренцию выжигают административным напалмом.

Ни одно частное предприятие не способно конкурировать с консолидированной силой государства как собственника и государства как контролера. Кто не знает, как это работает, пусть внимательно изучит мусорный и строительный бизнесы генерального прокурора России. Не может быть речи и о том, чтобы один чиновник мог эффективно контролировать другого чиновника (а все руководители госкорпораций по определению являются крупнейшими чиновниками). Чем заканчивается даже намек на такой контроль в России, все видели на примере «дела Улюкаева»: он заканчивается на мясокомбинате, где производят «колбаски от Сечина».

В России монополизм укоренен исторически, поэтому тут у него довольно много приверженцев. Почти вся промышленность создавалась по инициативе государства, с участием государства и под контролем государства (даже если инициатива и была коррупционно мотивирована будущим собственником). Разумеется, монополия была важнейшим инструментом государственной индустриализации. После большевистской революции она стала ее единственным инструментом. Монополизм был доведен до абсурда, возведен в такой ранг, которого он не имел до этого ни в одной крупной экономике мира. В конце концов этот монополизм и погубил СССР, сделав его экономику неэффективной и неконкурентоспособной.

После распада СССР на исторически короткий промежуток времени Россия в значительной мере освободилась от монополизма, но при этом так и не смогла организовать нормальную конкуренцию. Экономические и политические институты посткоммунистического общества не поспевали за масштабными вызовами эпохи. В итоге общество свалилось в штопор — ту самую войну всех против всех, которую монополии и конкуренция должны предотвращать. В начале нулевых, вместо того чтобы продолжить создавать конкурентную среду, было принято стратегически ошибочное решение начать восстанавливать монополию. Но это оказалась монополия особого рода, которой Россия прежде не видывала.

При коррумпированном сверху донизу авторитарном режиме, лишенном к тому же всякой реальной идеологической базы (вместо которой используются какие-то ржавые скрепы), монополии стали исключительно инструментом обогащения кланов, присосавшихся к власти. Монополиями режим рассчитывается с этими кланами за их политическую лояльность. То есть монополии — это самая конвертируемая валюта посткоммунистической России. Власть вместо денег раздает монополии: сначала на добычу нефти и газа, затем на дорожные сборы, затем на все подряд. Теперь вот, судя по недавним сообщениям, дело дошло до сортиров. Неудивительно, что и эта важная отрасль экономики досталась семейству генпрокурора Чайки: им по профилю.

Справедливости ради надо признать, что в России и раньше было мало предпосылок для успешного развития конкуренции, поэтому создание конкурентной среды — непростая задача для любого правительства, включая то, которому предстоит строить новую Россию, когда уйдет в небытие нынешний режим. Такими предпосылками обычно являются готовность к кооперации, широкий радиус доверия и иные атрибуты буржуазного общества — все то, что входит в веберовский протестантский этический код. В России подобный этический код, к сожалению, так и не прижился.

Вопреки расхожему мнению о том, что русские — это прирожденные коллективисты, исследователи даже с противоположными взглядами на судьбу России обращали внимание на патологический индивидуализм (по Ильину — федерализм), свойственный русским людям.

Чтобы гасить этот вечный избыточный русский индивидуализм, всегда использовались очень суровые меры, в том числе и повсеместное распространение монополий. Со временем монополии стали в России в значительной мере исторически обусловленным способом выживания за счет существенного подавления инициативы. Знаменитая русская насильственная соборность — лишь реакция на неспособность мягко гасить индивидуализм с помощью общих правил. Но у этого способа есть и свои исторические ограничения: с какого-то момента он просто перестает работать.

Монополии как метод преодоления хаоса сейчас вообще практически везде уступают конкуренции. Но в России с ее тяжелым культурным наследием конкуренция просто не успевала развиваться настолько, чтобы справиться со своей миссией. Каждый раз находился самодержец, который пытался решить накопившиеся проблемы на пути монополизации. Результат? Низкая эффективность и огромные издержки.

Петр I создал централизованную, почти целиком зависимую от государства промышленность. Большевики довели эту тенденцию до логического конца, оставив в живых только государственную плановую экономику. Чего это стоило и чем закончилось, напоминать, думаю, излишне. Это был всегда грубый, жесткий и неэкономный инструмент, но он веками как-то работал.

Почему это не работает сейчас? Потому что в ситуации развития информационного общества монополия как основной метод регулирования социального пространства себя практически исчерпала.

В условиях, когда все общественные отношения многократно усложнились, а успех все больше зависит от действий одного-единственного индивида или малых групп, поддерживать динамическое развитие общества через механизм монополий становится практически невозможно. У России нет другого пути, кроме перехода от экономики монополий к экономике конкуренции. Но сделать это непросто.

Преимущества конкуренции не так очевидны, хотя эмпирически подтверждается, что конкуренция бьет монополию. Это доказал опыт экономического развития практически всех крупных экономических систем: США, России, Китая. Гибель советской системы во многом на совести тех, кто не распознал вовремя губительных свойств монополизма. Рискну предположить, что если бы эволюция советской системы пошла по линии Шелепина — Косыгина, а не Брежнева — Сулова, и косыгинские реформы были бы реализованы в полном объеме, то финал СССР мог быть иным.

Но дело все-таки не столько в эмпирическом опыте, сколько в самом принципе. Конкуренция — более эффективный метод структурирования любого социального пространства, превос-

ходящий монополию по своему потенциалу. Конкуренция — это индивидуальная игра, организованная по общим и неукоснительно соблюдаемым правилам. В них как бы вшиты две стороны одной медали: свобода действий игроков, свобода выбора ими вектора движения и одновременно наличие предустановленных правил, которые нельзя менять по своему желанию или просто игнорировать. То есть в конкуренции главное — это правила, соблюдая которые игрок сохраняет широкую свободу выбора.

В монополии, наоборот, главное — это приказы. В условиях монополии свобода есть только у одного субъекта — того, кто единолично устанавливает и правила, и маршрут. Именно за счет сочетания двух элементов — порядка и свободы выбора — конкуренция оказывается более эффективной, чем монополия. Психологически именно конкуренция, а не монополия, является более естественной: она более соответствует природным инстинктам человека.

Из такого понимания конкуренции следует, что формирование правил и исполнение правил — ее сущностные моменты. Конкуренции не будет, если одни будут равнее, чем другие. Но этого мало.

Нужен равный и справедливый доступ к процессу формирования правил, ибо если правила дают кому-то преимущества, то конкуренция превращается в свою противоположность — скрытую монополию и хаос. Таким образом, настоящая конкуренция возможна только при развитом гражданском обществе и политическом (правовом) государстве. Эти вещи идут в наборе, как комплексный обед. Если над экономикой нет надстройки в виде конституционного правового государства, то выстроить экономику на конкурентных началах невозможно.

И здесь мы подходим, наконец, к самому главному. Есть страны типа Южной Кореи, где монополия частной компании, находящаяся под контролем конституционного государства, работает эффективно. Есть страны типа Швейцарии или Норвегии, где госкорпорации, находящиеся под контролем демократического государства, работают весьма эффективно (например, швейцарские железные дороги). Но нет стран, где государственная или частная монополия, находящаяся под контролем авторитарного

и коррумпированного государства, работает эффективно. Такое сочетание на входе есть почти всегда «Венесуэла» на выходе.

Коррумпированная, несменяемая власть (политическая монополия) плюс экономическая монополия — это гарантированная катастрофа.

По сути, такой комплект является злокачественным образованием. Многочисленные клановые клетки разрывают в клочья государственную ткань, стремясь урвать себе какую-либо из монополий. Пришел Сечин — получил «Роснефть». Пришли Ротенберги — получили «Платон». И так, как в матрешке, до самого низу, до последней Куцевки. Все эти монополии возникли благодаря коррумпированной власти и не могут без нее существовать. Возникает коррупционный замкнутый круг «власть — монополия — власть», разорвать который может только революция. И так будет бесконечно, пока не возникнет альтернативная модель — политическая конкуренция, превращающая экономические и социальные монополии в конкурентные процессы, которые, в свою очередь, воспроизводят политическую конкуренцию.

Левый или Правый поворот?

Деление на левых и правых — одно из самых укоренившихся в современной политике и одновременно одно из самых расплывчатых. Ныне левым или правым называет себя кто угодно, левая и правая повестки становятся неразличимы до степени смешения, как любят выражаться юристы. Крайне правый Трамп пришел к власти с программой, во многом построенной на левопопулистских стереотипах.

Путин, когда-то перехватив у коммунистов их левую «антиолигархическую» повестку, потом проводил в основном жестко правую политику в интересах бюрократии и новой олигархии. Определить, кто есть who в современной политике, оказывается совсем не просто.

С тех пор как принадлежность к левому или правому лагерю определялась по рассадке в зале французского парламента, утекло много воды. Левизну и правизну определяли по-разному.

Обычно левыми считаются ревнители госсобственности, фанаты «большого правительства» и регулируемой экономики, поборники высоких налогов на имущих и обильных преференций для неимущих. В противоположность им, правыми обычно называют себя энтузиасты свободного рынка, адепты «малень-

кого правительства», любители раздавать удочки вместо рыбы, убежденные, что Христос, накормивший толпу, мог бы обойтись и тремя хлебами вместо пяти, лишь бы не увеличивать государственный долг.

В рамках своей задачи ограничусь рабочим пониманием левого и правового, пусть оно и не будет полным. Мне кажется, что в основе деления на левых и правых лежит отношение к равенству. Для левой политики характерно стремление к усилению равенства и подавлению неравенства. Правой политике свойственно признание неравенства, прежде всего имущественного, но и всякого другого, и попытка стимулировать неравенством экономическую активность.

Разумеется, это крайние, «чистые» линии. Между ними множество смешанных форм — лево-правых и право-левых. Но суть где-то здесь.

Ни в обществе в целом, ни в экспертном сообществе нет однозначного отношения к проблеме равенства (не надо путать с равноправием). Поэтому нет и не может быть однозначного отношения к левой и правой политике. Отношение к неравенству, как и мода, склонно к сезонным колебаниям. Когда уровень фактического неравенства в мире начинает расти, как сейчас, растет и соответствующая обеспокоенность. Появляется море исследований, иллюстрирующих ужасающие экономические, социальные и политические последствия неравенства. Соответственно, растет популярность левой идеологии.

Когда повсюду торжествует уравниловка и от этого падают темпы экономического роста, а бедность, ради борьбы с которой эта уравниловка и вводилась, начинает перехлестывать через край, возникает не меньшее море исследований о вреде равенства и пользе неравенства. Соответственно, растет популярность правых взглядов.

Из этого можно сделать незамысловатый вывод о том, что окончательной, абсолютной истины нет ни в левой, ни в правой идеологии. Они как движение парусной лодки против ветра: чтобы плыть вперед, надо двигаться галсами — то чуть направо, то чуть налево. А это, в свою очередь, означает, что смена правого и левого курса — процесс циклический и, в общем-то,

закономерный. Искусство политики отчасти в том и состоит, чтобы уловить момент, когда надо переключаться с движения налево к движению направо, и наоборот.

Особенность нынешнего исторического периода в том, что момент такого переключения опять созрел. Но в силу усложнения экономики и политики, расширения ее многомерности, стало очень трудно определить, с чего на что надо переключаться — то ли справа налево, то ли слева направо. В ситуации неопределенности появляются «временные лидеры» с расплывчатым идеологическим профилем, такие как Трамп, Джонсон, Сальвини, Путин — то ли левые, то ли правые. Никто толком не разберет, какой на самом деле вектор у их политического курса. Возможно, в этом и есть их цель, потому что они хотят нравиться как можно большему количеству людей (и пока с этим справляются). Но вечно так продолжаться не может: в какой-то момент на сцену выйдут политики с четким профилем.

Кто же стоит сегодня на пороге и стучится в двери мировой политики? Левые или правые? Ответ на этот вопрос не так очевиден, как кажется. На первый взгляд, Европа, да и не только она одна, в ожидании долгожданной победы так называемых ультраправых сил. Это и Ле Пен во Франции, и «Альтернатива для Германии» в Германии, и «Северный альянс» в Италии, и так далее. Это так очевидно, что новоявленный русский царь решил построить из этих сил очередной «Священный союз» для защиты традиционных европейских ценностей. Но для меня очень большой вопрос, насколько все эти силы, позиционирующие себя как правые, привержены правой идее. Ведь большинство так называемых правых идут с латентной левой повесткой в рукаве. А причина, по которой они так преуспели в политическом покере, кроется в том, что настоящие левые временно сошли с дистанции, заблудившись в дебрях миграционной политики и тем самым освободив правым свое исконное место.

Что же так смущает традиционных левых и даже заставляет их тесниться, уступая место на пьедестале правым, продвигающим левые идеи? Ответ лежит на поверхности: традиционная левая повестка оказалась смазана наложенной поверх нее миграционной повесткой. Корнями все это уходит в раскол традиционной базы левых идей

и выделении из нее (базы) «новых бедных» и «непрощенных бедных». Новые бедные — это относительно бедные, то есть люди, качество жизни которых несопоставимо выше, чем у действительно бедных людей прошлого, но которые ощущают себя слишком бедными на фоне растущих доходов новых богатых и проникаются нищенским самосознанием. Непрощенные бедные — это действительно бедные, в основном иммигранты, временно и нелегально трудоустроенные, находящиеся вне защиты закона. Доля таких людей в развитых экономиках мира огромна.

То есть проблема левых с традиционной повесткой в том, что их социальная база уходит из-под ног. Бедные стремительно превращаются в новых бедных, готовых воевать сразу на два фронта: и против богатых, и против непрощенных бедных. А поскольку, как известно, самая жестокая конкуренция разгорается на паперти, война против непрощенных занимает умы новых бедных даже больше, чем война против богатых. Все это блестяще продемонстрировал «казус Корбина» в Великобритании: даже сверхрадикальная социальная повестка лейбористов не смогла перебить тему «Брексита» в глазах их традиционного избирателя, что привело к неудаче лейбористов (вместе с консерваторами) на выборах в Европарламент.

В этот пролом и хлынула «правая волна». Правые, взяв на вооружение псевдолевую повестку, воспользовались замешательством традиционно левых, не определившихся четко в вопросе иммигрантов, и обеспечили себе значительный успех. Однако есть основания предполагать, что этот успех носит временный характер. И вовсе не потому, что левая идея имеет какую-то особую сакральную силу: просто сейчас, после нескольких десятилетий политики правых, вызвавшей резкий рост неравенства и социального расслоения, востребована левая повестка. Следующий длинный цикл будет посвящен борьбе с неравенством, а не наоборот. Потом будет что-то другое и кто-то поднимет флаг «правого дела». Но здесь и сейчас в западном мире нас, скорее всего, ждет глобальный левый поворот, о чем в разных форматах я не устаю говорить последние пятнадцать лет.

Таков общий фон. А что же Россия? Как это все отражается на ее перспективах? Россия, как всегда, в тренде, но здесь все еще

более запутанно, потому что на расклад между левыми и правыми накладывается не столько нелюбовь к иммигрантам, сколько, во-первых, ностальгия по социализму, который сплошь и рядом путают с социальным государством, и, во-вторых, реальные рудименты социализма, отпечатавшиеся в сословном характере российского общества.

СССР представляют обществом, в котором отсутствовало неравенство. Это и так, и не так. В абсолютных цифрах различие между положением простого рабочего и члена Политбюро было не столь велико, особенно если брать во внимание сегодняшние стандарты. Но в относительном выражении различие между стратами советского общества было колоссальным и постоянно росло. До самого последнего момента этот рост идеологически сдерживался и не выходил на поверхность через демонстративное потребление и его пропагандирование. Но когда коммунизм приказал долго жить, ситуация вышла из-под контроля и Россия предстала страной с одним из самых высоких уровней неравенства. Неправильно говорить, что неравенство возникло в девяностые, но именно в девяностые оно в результате неумелых действий вышло на поверхность и взорвало социальное перемирие.

В XXI век Россия вошла страной с одним из самых высоких в мире индексов неравенства (в США похожий). Разрыв в доходах и образе жизни различных социальных страт выглядел еще более недопустимо с учетом давней советской привычки людей хотя бы к внешнему равенству. Все это привело к тому, что продвижение в какой-либо демократической форме правой идеи в России начала нулевых стало практически невозможным. На фоне резко возросшего социального расслоения и при очевидно усилившейся ностальгии по советскому прошлому любая идея, прямо или косвенно оправдывающая дальнейшее расслоение общества, была бы отвергнута массами с ходу.

Возник сложный выбор: либо правая идея, под знаменем которой проводились постсоветские экономические реформы, включая возврат права частной собственности, — либо демократия, формирование которой было смыслом и целью политических реформ. В тот конкретный момент исторического развития правая идея и демократия в России вместе уже не сочетались.

Именно тогда, находясь в условиях, способствующих переосмыслению многих привычных стереотипов и позволяющих взглянуть на вещи под неожиданным углом зрения, я предложил реформаторским и демократическим силам — всем, кто нацелен не на прошлое, а на будущее и видит Россию современной модернизированной страной, — сделать однозначный выбор в пользу демократии и сменить знамя. Понимание того, что общество больше не примет правую идею (хотя ее потенциал в России не был исчерпан и работа, которую следовало провести под этим знаменем, не была и близко доведена до конца), заставило меня выступить с призывом к левому повороту.

Предлагая совершить крутой маневр, я не становился сторонником коммунистических и левацких идей. Речь шла о другом — пришло осознание, что социальное расслоение общества достигло угрожающих масштабов и оно более обществом не принимается, что в такой стране, как Россия, вообще изначально было утопией придерживаться при проведении реформ чисто либертарианских взглядов, что государство не может далее оставаться в этом вопросе сторонним наблюдателем и должно принять экономические и политические меры, направленные на выравнивание наметившегося социального дисбаланса, что это значит, в конце концов, что с мечтой о «маленьком государстве» в России надо распрощаться и надо учиться нормально управлять нормальным государством и контролировать его.

К сожалению, многие из тех, к кому был обращен мой призыв, его не услышали. Впрочем, по независящим от меня причинам я не мог активно участвовать в этой дискуссии и больше наблюдал за ней со стороны. Так или иначе, но основной костяк сил сопротивления ползучему авторитаризму и неототалитаризму — те смелые, порой до отчаяния, люди, которые не пошли на компромисс с режимом и продолжили идейную и политическую борьбу за права человека, против произвола власти и за демократические ценности, — оставался на правых, даже либертарианских позициях, пропагандируя ценности свободного рынка, преимущества капитализма и прелести «маленького государства». Возможно, это было справедливо, но в той обстановке — вряд ли уместно и практично.

Ситуация усугублялась тем, что при отсутствии реально сколь-нибудь значимой левой идеи в России было и осталось полным-полно левацких и псевдоловых идей. Идеологическое и политическое пространство полно деятелями, паразитирующими на советской ностальгии старшего поколения и продающими левую идею как социальный транквилизатор. Неудивительно, что у изрядной части критически настроенного формирующегося гражданского общества выработалась идиосинкрязия к самому слову «левый» — все левое стало отвергаться априори как элемент советской архаики. В результате место оказалось вакантным.

Как известно, свято место пусто не бывает, и на левую идею нашелся самый неожиданный покупатель — правящий режим. Если те, к кому я обращался, меня не услышали, то в Кремле очень хорошо осознали ценность левой идеи. Правда, я полагал, что ее надо соединить с демократической идеей, а в Кремле ухватились за левую идею, наоборот, как за инструмент свертывания демократии и выстраивания постсоветского авторитаризма. Под прикрытием популярных лозунгов борьбы с финансовой олигархией Кремль начал разворачивать фальшивую левую программу, на словах стремясь к сокращению разрыва между богатыми и бедными, обещая широкое развитие разнообразных социальных программ, рекламируя свою модель социального государства. Пик этого популизма пришелся на 2007–2008 годы, когда стал активно продвигаться концепт «национальных программ» в области здравоохранения, образования, культуры и так далее.

Поначалу этот недемократический левый поворот дал очень хорошие политические всходы. На фоне обильных доходов от продажи сырьевых ресурсов по сверхвысоким ценам и при сохраняющейся видимости стабильных отношений с Западом (что давало еще и дополнительную возможность привлечь кредитные ресурсы и инвестиции) на социальном направлении удалось сконцентрировать немалые ресурсы, подняв таким образом уровень жизни значительных групп населения на почти докризисный уровень и даже кое-где побив советские стандарты. Это обеспечило мощную поддержку режима со стороны общества и привело к знаменитому общественному пакту «хлеб в обмен на

демократию», итогом которого стало формирование замкнутой авторитарной системы.

Однако путинский социальный рай продолжался недолго. Ни к какому новому равенству эта политика не привела. Да, по сравнению с девяностыми доходы и уровень жизни весомой части населения существенно поднялись. Но доходы главных бенефициаров путинской политики — новой бюрократии и пристегнутого к ней полукриминального бизнеса росли еще большими, почти космическими темпами. Социальное расслоение не только не уменьшилось, но и заметно выросло. Появился новый олигархический класс Путина, состоящий из его опричников, выросли доходы подавляющей части старой прослойки сверхбогатых. То, что происходило в Москве на национальном уровне, многократно дублировалось в провинции, где точно так же увеличивался разрыв между общественными слоями. Получилась фантастическая картина: проводя на словах левую повестку, на деле режим способствовал еще большему расслоению общества и росту неравенства во всех сферах, причем в самой примитивной, практически сословно-феодальной форме.

Пока денег было не просто много, а очень много, никакого диссонанса из-за этой своей псевдолевой повестки режим не испытывал. Сверхдоходы позволяли безболезненно отстегивать массам откупные платежи, практически не снижая темпов накопления богатств у привластного клана. Эта легкость бытия развращала. Социалистические идеи стали все чаще перемежаться с идеями националистическими и даже милитаристскими. Как известно, из социализма и национализма нередко рождается гремучая смесь. Собственно, поворот в сторону национальных социальных программ с самого начала проходил под аккомпанемент «мюнхенской речи» Путина (2007). Их старт уже сопровождался акцией по отторжению от Грузии двух автономий — Южной Осетии и Абхазии (2008), а в период расцвета «путинского социализма», на пике роста благосостояния постсоветского народа, началась война с Украиной (2014). И здесь случился сбой: в условиях войны денег на поддержание социальной иллюзии стало не хватать.

Что случилось с путинским социальным государством с началом эпохи гибридных войн? Коротко говоря, оно утонуло.

Во-первых, после кризиса 2008 года изменилась мировая конъюнктура и цены на сырье сами по себе поползли вниз.

Во-вторых, подготовка к войне, восстановление автономного ВПК (пусть и исключительно для виду) — дело недешевое, а в насквозь коррумпированном государстве и вовсе непозволительная роскошь даже для самого сильного бюджета.

В-третьих, в долгосрочной перспективе лишение доступа на мировые кредитные рынки и торговые ограничения, накладываемые санкциями, — вещь не такая уж и смешная, как об этом твердят по «Первому каналу». В этом случае, похоже, одни только «Искандеры» и смеются — все остальные плачут.

В-четвертых, самая продвинутая и экономически перспективная часть общества стала массово покидать страну и экономически, и даже физически. Жизнь-то у всех одна, и тратить ее в загородке для буйных не каждый захочет.

То есть случилась примитивная вещь: доходы упали, а расходы резко возросли. Пирога на всех стало не хватать, и государству пришлось выбирать, за счет кого дальше подниматься с колен.

Какую позицию в этом вопросе должен занять демократически ориентированный гражданин? Должен ли он придерживаться правой или левой повестки? Уже в самом этом вопросе есть некоторая некорректность. Как сказано выше, противопоставление правого и левого движения, правой и левой идеи в современном мире, и особенно в России, носит несущественный, относительный характер. И левое, и правое — теперь только тактические ходы, а не долгосрочная политическая стратегия, как это было раньше. Нет левого Путина и правого Трампа — все это мифология и приспособленчество. Ну и конечно, левое и правое в России — совсем не то, что в Европе.

Что такое классическая правая повестка на Западе? Это возможность максимально зарабатывать и не делиться с другими, в первую очередь через налоги, выплачиваемые государству. Поэтому и государство, и налоги должны быть маленькими. Другой признак правой повестки — отношение к сверхпотреблению. В Европе сверхпотребление почти нигде не приветствуется и сдерживается культурными и фискальными мерами. В таком свете российская власть, по сути, правая, ибо классическая пра-

вая повестка в России декларируется ею прямо и без обиняков через уникальную плоскую налоговую шкалу и поощрение государством и обществом сверхпотребления сверх всякой меры.

В связи с популярностью антикоррупционной темы о сверхпотреблении надо сказать отдельно. У нас госслужащие какие только дворцы ни строят: и буквой «Зю», и буквой «Ж», — общество все терпит. Россия — родина не слонов, а шубохранилищ. Избыточность во всем: арабский масштаб, африканское качество и азиатский помпезный стиль. И все это с претензией на Версаль! На свете немного стран с таким демонстративным сверхпотреблением. И здесь неважно — на ворованные или на свои. Здесь важно, что в нормальном обществе это просто неприлично.

А в России — прилично. Общество у нас, в отличие от Запада, спокойно относится и к плоской налоговой шкале, и к варварскому сверхпотреблению. Есть неприязнь, но не классовая ненависть. Более того, многие гораздо жестче относятся к минимальному преимуществу соседа, чем к роскоши незнакомого богача. Соседская дверь, обитая железом, раздражает больше, чем кованая ограда дачи Сечина. Это требует разъяснения.

Ответ не лежит на поверхности. Он скорее исторический и философский, чем чисто политический. В России сохраняется рудиментарная сословная структура потребления и, соответственно, шкала социальных притязаний. Поэтому претензии россиян к власти в области социальной политики до сих пор имеют словно ограниченный характер.

Люди хотят малого, но этим малым никогда не поступятся. Они крепко держатся за статус-кво и за «свои» скромные социальные блага, не желая терять их даже тогда, когда эти блага имеют чисто символическое практическое значение. Привилегии высшей касты волнуют людей гораздо меньше, чем это многим кажется.

История с пенсионной реформой лишь на первый взгляд имеет иррациональный характер. Люди очень задеты повышением пенсионного возраста — мерой правительства, которая в практическом смысле на большинстве из них если и скажется, то в отдаленной перспективе. Но тут дело скорее не в практическом значении, а в нарушении баланса: отнимаются пусть и будущие, но психологически важные привилегии низшего сословия.

В отличие от Запада, россияне в массе своей признают сословные границы и не пытаются их сломать (индивидуально перейти — это пожалуйста, а сломать — нет), но при этом они требуют сохранения и даже повышения качества жизни внутри этих сословных ограничений. И на любое относительное снижение этого качества, каким бы мизерным в абсолютном выражении оно ни было, реагируют крайне болезненно. Вопрос о том, возможно ли, а главное — нужно ли ломать эти сословные границы в ближайшей исторической перспективе, остается открытым. Эта задача — точно не первоочередная, поскольку требует настоящей революции в сознании.

Сословная природа российского общества препятствует развитию в стране настоящей левой идеи. В чем состоит типично левая повестка в Европе, помимо огосударствления экономики? В прогрессивном подоходном налоге. В России эта тема не работает. Люди не видят связи между ухудшением положения другого сословия и улучшением положения внутри своего сословия. Тринадцатипроцентный налог — не тема для серьезной дискуссии. На самом деле в России потому и нет структурированной левой повестки, что ее надо создавать, осознавая сословную специфику.

Правильно выстроенная социальная политика — мощнейший рычаг для переворачивания пирамиды власти. Почему это так важно? Путин — не смешанный политик: он радикально правый. Левизна для него — это фальшпанель. Подражая технологиям лидеров фашистского типа, он подобно Солярису меняет маски по ситуации. С 2003 года он прикрывает свой курс левыми лозунгами. Но, как и всё в этом режиме, декларируемая им левая повестка — это симулякр. По сути, в этом нет ничего нового. Как нет ни настоящего самоуправления, ни настоящего федерализма, так нет и настоящей левой повестки Путина. Хотя ее как маску будут ситуационно использовать и впредь, по мере дряхления режима.

При этом ситуация будет только катиться под откос — изменяться от плохого к худшему, так как для России нет места в сфере индустриального производства в мировом разделении труда. Конвейер — не наше, к тому же это место все равно занято. Нас может спасти только высококвалифицированный труд, но мы, к сожалению, уменьшаем престиж образования и урезаем рас-

ходы на него. Продолжает расти сословность общества. Дети не видят ценности высшего образования — соответственно, им некуда будет деваться потом, когда они станут взрослыми. Это запрограммированное массовое обнищание.

Здесь есть и, возможно, неосознанный политический компонент: управлять бедным обществом легче. У бедных людей ожидания занижены.

Тем самым Путин консервирует сословный уклад на десятилетия вперед. Закладывается модель, при которой бóльшая часть населения не сможет прорваться вверх из-за фактического образовательного ценза. Такая матрица неспособна эволюционировать, и ее придется ломать.

На этом режим можно и нужно ловить. Демократическое движение должно противопоставить левому симулякру режима реальную левую тактическую повестку. Причем не абстрактную общеевропейскую (это в России не работает), а вписанную в российские сословные реалии. Что же такое тактическая левая повестка в современных российских условиях? Ничего сверхъестественного — это сочетание двух позиций: последовательная борьба со сверхпотреблением и жесткие гарантии сохранения, а по возможности и повышения нишевых мер социальной поддержки для основной массы населения.

Кажется, что со сверхпотреблением в России бороться невозможно, ибо четко выраженного запроса на это со стороны общества нет, несмотря на яркую антикоррупционную кампанию оппозиции. Люди испытывают возмущение, которое, однако, граничит с обывательским любопытством и не преобразуется в энергию политического действия. В итоге все уходит в песок.

Правда, есть одна мелкая, но существенная подробность: люди готовы мириться со сверхпотреблением отцов, но не готовы признавать право на сверхпотребление детей. Легитимность наследования крупных состояний в России, будь то олигархические семьи или чиновничьи династии, остается под большим вопросом. Сословная толерантность не переносится на следующее поколение. Поэтому есть окно возможностей для эволюционного решения проблемы — через введение экспроприационных ставок налога для наследования сверхкрупных состояний.

В том же, что касается социальных гарантий для широких слоев населения, Россия обречена оставаться социальным государством, где долгое время будут сохраняться рудименты советского социализма. Эксперименты вроде монетизации льгот и повышения пенсионного возраста, в которые, как в штопор, периодически срывается режим, в условиях России политически неприемлемы.

Демократическое движение завоеует массовую поддержку только в том случае, если сможет занять в этом вопросе четкую и однозначную позицию. Все проблемы финансового и фискального характера придется решать за счет ускорения темпов роста экономики, снижения коррупционных издержек и налога на наследование, а не за счет неприкосновенного запаса советских льгот.

Суммируя сказанное, тактически левая повестка демократического движения на данном этапе может выглядеть как двухтактная: поэтапное ограничение сверхпотребления с помощью конфискационного по своей природе налога на наследование сверхкрупных состояний и, с другой стороны, гарантии сохранения (и даже плавное наращивание) базовых социальных льгот, прежде всего в здравоохранении, образовании и социальном обеспечении.

За минувшие годы фальшь социальной политики режима выявилась в полной мере. Левая повестка превратилась в ритуальную отмазку. Продолжая на словах изредка поминать свои «национальные проекты», на деле правительство развернуло настоящую войну с собственным населением за «оптимизацию» социальных расходов. Почти треть образовательных и медицинских учреждений пошла под нож, зарезали под горячую руку даже священную корову социалистического прошлого — низкий пенсионный возраст, а материнский капитал плавно растворился в девальвации рубля и превратился еще в одно мало что решающее рутинное пособие, и так далее.

Но другая священная корова выжила — это сверхдоходы правящего клана, который успешно пережил все деофшоризации, увеличив свои капиталы как на выводе из страны, так и на обратном вводе. Верхом цинизма стали массовые выкупы государ-

ством неликвидных активов по завышенным ценам у прикормленных предпринимателей и бюджетные компенсации лицам, пострадавшим от санкций.

Последнее выглядит особенно мерзко на фоне «пармезановой войны» — контрсанкций, которыми «отбомбились по Воронежу», лишив средний класс доступа к качественным продуктам питания. Таким образом, в условиях кризиса и необъявленной войны с Западом режим на практике стал реализовывать типично правую политическую повестку — оптимизации за счет бедных в интересах богатых. Крым оказался не столько «наш», сколько «за наш счет».

Если наметившаяся тенденция сохранится (а нет никаких оснований полагать, что она резко изменится), то вскоре тема левого поворота станет столь же актуальной, как и пятнадцать лет назад. Социальное расслоение будет расти утроенными темпами, теперь уже не только за счет новых богатых, но и за счет появления новых бедных — тех, чье благосостояние резко упало в результате кризисной оптимизации, спровоцированной необъявленной войной. И темы бедности, социального неравенства и несправедливого распределения сырьевой ренты вернутся в топ политической повестки. Но у режима, погрязшего в войне ради собирания осколков Империи, уже не будет возможности снова перехватить эту повестку.

Можно предположить, что перед движением сопротивления опять встанет та же дилемма, что и в начале нулевых: левый поворот и демократический приход к власти — или правая идея и очередная политическая изоляция?

В условиях галопирующего неравенства, когда общество все больше проникается левыми идеями, рассчитывать на приход к власти демократическим путем, предлагая правую и даже крайне правую, зачастую либертарианскую повестку, рекламируя прелести «маленького государства» и потенциал «свободного рынка», — это заведомая утопия. Действуя таким образом, наиболее боеспособная часть гражданского общества рискует навсегда исчезнуть с политической сцены и перейти даже не в партер, а на галерку. Сцену же займут комедианты и авантюристы.

Сегодня снова сложились условия, которые существовали в тот момент, когда я писал свой «Левый поворот». Для оппозиции было бы непозволительной роскошью упустить случай вернуться из фейсбучной тусовки в реальную политику.

Если не сложится демократическая коалиция с левой повесткой, то шансы на мирный транзит власти демократическим путем будут невелики. Режим будет висеть на волоске до тех пор, пока этот волосок не перережет революция снизу, на волне которой к власти придут новые большевики. В этом случае есть риск, что русская история зайдет еще на один штрафной круг, а в итоге Россия уже навсегда выпадет из актуальной всемирной истории.

Слово на свободе или Гласность в резервации?

Когда речь заходит о политическом режиме в современной России, у тех, кто пытается его как-то классифицировать, неизбежно возникает когнитивный диссонанс. С одной стороны, этот режим кажется безусловно авторитарным, репрессивным и даже тоталитарным. Власть тут несменяема, оппозиция лишена малейшего шанса победить с помощью выборов, ставших пустой формальностью; любой гражданин может в любую минуту оказаться жертвой полицейского произвола, даже если он вообще не занимается политикой, а уж если занимается, то и подавно.

Впрочем, обо всем этом можно писать достаточно прямо и открыто в Сети и даже в отдельных средствах массовой информации, доступ к которым относительно свободен. Власть можно критиковать, можно заниматься частными расследованиями, копаться в грязном богатстве высших государственных сановников и так далее. И, в общем-то, все это сходит с рук, хотя отдельные эксцессы, стоившие жизни нескольким выдающимся журналистам, случаются. Но они случаются и в других странах — в Словакии, в Болгарии, на Мальте, и это только в последние годы.

Трудно не заметить, что возможность высказываться в путинской России до сих пор оставалась большей, чем в СССР даже

самых «вегетарианских» времен. Ни «Эхо Москвы», ни «Новая газета», ни «Дождь», ни относительно открытая Сеть, ни многое, многое другое просто непредставимо в СССР. Лишь за мечту о чем-то подобном можно было получить немалый срок. Поэтому ныне многие говорят и пишут о России как о достаточно свободной стране или, по крайней мере, как о стране, в которой есть хотя бы свобода слова. Насколько это оправданно?

Проблема в том, что свобода слова в точном смысле этого слова является высшим правовым и конституционным принципом, которому подчинено государство. Эта свобода гарантирована всей мощью гражданского общества и встроеного в него политического государства. В современной России такой свободы нет. Вместо нее есть ограниченное пространство, пределы которого строго очерчены властью, на котором с позволения власти и под ее бдительным присмотром обитает туземец по имени Гласность. Этот музейный старик живет в отведенной на окраине полицейского государства резервации, развлекая столичных зевак и заезжих туристов.

Жизнь в резервации целиком и полностью зависит от воли государства: оно могло бы прикрыть ее в любой момент, но из каких-то своих внутренних соображений этого не делает — видимо, вред от закрытия резервации (связанная с этим шумиха, необходимость развлекать зевак чем-то другим и так далее) пока превышает вред, наносимый режиму призрачной гласностью. Такое положение возникло не в один момент, а сложилось исторически под воздействием множества разнообразных и зачастую противоречивых факторов. Чтобы понять, как из этой ситуации вырывать и главное — куда, необходимо хотя бы вкратце обрисовать эту эволюцию.

В СССР общество было настолько закрытым, насколько это вообще возможно в практической жизни. Эта закрытость давала уникальные рычаги государственной пропаганде, помогавшей режиму контролировать сознание, а значит, и поведение подавляющей части населения. В этом, можно сказать, одно из главных отличий тоталитарного режима от авторитарного — первый полагается не только на полицейские репрессии, но и на активное программирование сознания и поведения людей с помощью

мощнейшей пропагандистской машины. Таких условий и близко нет у нынешнего режима, и не думаю, что ему когда-нибудь удастся их создать.

С середины пятидесятых, когда эпоха Большого террора миновала, основная нагрузка по поддержанию стабильности советского строя легла именно на пропагандистскую государственную машину. Репрессивный аппарат играл вспомогательную роль, вычищая тех, кто по каким-то причинам оказался невосприимчив к пропаганде. Но таких оставалось сравнительно немного, поэтому не было нужды держать репрессивную машину в постоянно расчехленном состоянии, и она орудовала исподтишка, периодически изымая «желающих странного», а всю основную черновую работу выполняли мастера партийного слова.

Усилиями глубоко эшелонированной, беспрецедентной по мощности пропагандистской машины население было прочно экранировано от сколь-нибудь правдивой информации о происходящем в стране и в мире. Это естественным образом сформировало основную линию фронта борьбы с режимом как внутри СССР, так и извне. Главным раздражителем для подавляющего большинства на исходе советской власти были не репрессивные органы, не милиция с КГБ (подавляющее большинство обывателей с ними впрямую не сталкивались), а именно партийные пропагандисты, рассказывавшие народу о том, что сплошь и рядом расходилось с его эмпирическим опытом.

Логическое следствие такого положения вещей не заставило себя долго ждать: когда к власти в СССР пришел Горбачев, чуть ли не главным консенсусным требованием и верхов, и низов стало требование правды. Отвечая на этот четкий и ясно выраженный политический запрос, горбачевское руководство выдвинуло лозунг гласности. Безусловно, гласность была чисто советским эвфемизмом, отражавшим смутное и мифологизированное представление советско-партийной элиты о связанном комплексе таких либеральных ценностей, как свобода слова, свобода печати, открытость и так далее. Да, это была крайне непоследовательная, ограниченная и внутренне противоречивая идеологическая конструкция. Но вместе с тем надо понимать, что это была самая фундаментальная, самая первая и потому самая жесткая

парадигма перестройки. Это был хребет, на который потом нанизали все остальное.

Гласность психологически, с самого начала и до сих пор, воспринимается как главное достижение горбачевской революции. В ней виделся концентрированный ответ на советский тоталитаризм, каким его запомнили последние советские поколения. И именно поэтому, когда режим начал наступление на демократию и все достижения горбачевско-ельцинской революции были подвергнуты остракизму, гласность оказалась последним непотопляемым оплотом «коммунистического либерализма».

Это создает у многих людей иллюзию, что в России сохраняется какая-никакая свобода слова. В действительности все оказалось гораздо сложнее — никакой свободы слова в России нет, но авторитарный и даже неототалитарный по своей природе режим научился сосуществовать с остатками горбачевской гласности не без некоторой выгоды для себя.

Чтобы правильно выстроить стратегию демократизации российского общества на будущее, нам необходимо понять тайну странного и отчасти противоестественного сосуществования этих двух взаимоисключающих начал общественной жизни — начала правды и начала лжи.

В основе этого феномена — способность режима удерживать командные информационные высоты. Началось с концентрации основных информационных каналов в руках государства и аффилированных с государством лиц и структур. Вехи движения в этом направлении — разгром старого НТВ и восстановление полного контроля администрации президента над «Первым каналом», который остался общественным лишь на бумаге. На сегодняшний день информационный рынок является одним из наиболее монополизированных в России.

При этом государство прямо или косвенно владеет не только проправительственными средствами массовой информации, но даже и большинством СМИ, считающихся оппозиционными.

Экспансия государства не ограничилась рынком классических СМИ. По мере роста влияния интернета государство через своих агентов пришло и туда. Важнейшим рубежом здесь стало приобретение контроля над крупнейшей в России социальной сетью

«Вконтакте». Но и помимо этого в различные интернет-проекты через многочисленных посредников-подрядчиков закачиваются колоссальные бюджетные средства. Несмотря на широко распространенное мнение об оппозиционности режиму российского сегмента интернета, в действительности и здесь государство занимает доминирующее положение.

Однако еще важнее не количественные, а качественные показатели. Важно не только то, какими ресурсами в информационной сфере располагает государство, но и то, каким образом оно их использует. Итогом многолетних и непрерывных усилий Кремля стало создание в России, так сказать, доминирующего информационного потока. Это метод крайне агрессивного тотального распространения информации, имитирующий перманентную информационную войну.

Генератор этого доминирующего информационного потока находится в Кремле, а приводные ремни — тьма кремлевских агентов, контролирующих конкретные информационные ресурсы, причем сразу на нескольких уровнях. Это предельно сложная система, включающая в себя разветвленную и децентрализованную сеть think tanks — аналитические «фабрики», наполняющие поток идеями. Тут есть свои многочисленные и в основном авторские производственные мощности, свои звезды и свое пушечное мясо. Эта система устроена гораздо тоньше и изощреннее, чем силовой репрессивный блок, и это немудрено: до последнего времени именно она играла ключевую роль в стабилизации режима.

Именно наличие этого мощного, контролируемого государством информационного потока позволяло режиму сохранять рядом в резервации слабый и ограниченный альтернативный информационный ручей, шум которого был почти не слышен массам, поскольку его заглушал рев потока. При этом, позволяя гласности резвиться в информационной песочнице, режим строго дозировал базар и выверял степень дозволенного чуть ли не на аптекарских весах. Для этого ему и нужен косвенный контроль над оппозиционными СМИ, который он неуклонно наращивает. Любая попытка выйти за пределы песочницы приводит к скандалам и грубому одергиванию.

Но любая сложная система — довольно хрупкая. То, что хорошо работает на малых оборотах протеста, начинает сбивать и вибрировать на больших. При возрастании политических нагрузок на систему становится все сложнее генерировать поток нужной мощности. Да и помехи, создаваемые альтернативными информационными течениями, локализованными в резервации, становятся все ощутимее и все опаснее для системы. Рано или поздно ей придется поменять схему и превратить доминирующий поток в тотальный. Это будет означать конец эпохи обрезанной постмодернистской гласности и возврат к цельному и простому советскому образцу.

Гласность весьма уязвима по самой своей природе — вторичной, производной от власти. Начиная с 1999 года, то есть в течение всего периода посткоммунистической реакции, мы были свидетелями наступления режима на гласность, ограничения ее пространства — и прямого, и косвенного. Угроза полного отказа от гласности все время остается актуальной, и если режим на это решится, вряд ли ему кто-то или что-то сможет помешать. Другое дело, что это вызовет неприятные и необратимые последствия не только для общества, но и для самого режима, которые не столько замедлят, сколько ускорят его конец.

Казалось бы — тогда и черт с ними, пусть завинчивают! Но вопрос стоит не столько о моменте, когда под откос пойдет этот режим, а про то, что придет ему на смену. И вот здесь, безусловно, защита любой гласности имеет огромное значение для демократического движения.

Как бы призрачна ни была правда, загнанная в резервацию, но она лучше, чем гуляющая на свободе ложь. За каждое слово правды надо бороться, надо сопротивляться любой попытке режима окончательно избавиться от гласности, надо вставать всем миром на защиту журналистов и изданий, героически противостоящих тоталитаризму. Но стратегическая цель не в этом. Нам надо стремиться не к полному восстановлению гласности, а к созданию твердых конституционных гарантий свободы слова.

Необходим качественный скачок в политике открытости. Подчеркну, что простого возврата назад, во времена яковлевского

«Коммерсанта» или малашенковского НТВ, уже мало. То, что было хорошо для юного постсоветского общества, не подходит обществу, накопившему большой и неоднозначный опыт борьбы за демократию. Горбачевская гласность, даже без путинского «обрезания», — это уже не тот идеал, к которому надо стремиться.

Мы должны идти дальше — к полноценному, свободному и открытому информационному рынку, регулируемому четкими правовыми законами. Только наличие такого рынка с подлинной конкуренцией может быть настоящей гарантией реализации права на свободу слова.

Безусловно, свободная рыночная среда, разрешая одни проблемы, создает другие, и поэтому есть немало сложных вопросов, на которые обществу придется подыскивать подходящие ответы. Но это не меняет моего отношения к выбору стратегического направления — конкуренция и рынок должны обеспечить обществу настоящую открытость.

Конечно, в некотором смысле свобода слова может быть обеспечена только нормальным функционированием всей демократической политической системы: с эффективным разделением властей, работающим правосудием и так далее, а еще глубже — с готовностью общества в целом отстаивать эту свободу с оружием в руках. Если свобода слова — это политическая валюта, то ее обеспечением является вся демократическая инфраструктура общества. Но, помимо этих общих гарантий, имеются и специфические меры, в том числе институциональные, без которых никакая свобода слова не может существовать.

Среди этих специфических мер есть как экономические, так и политические. И те и другие помогают достигнуть одной главной цели: не просто лишить государство возможности ограничивать свободу слова, а лишить его еще и возможности индуцировать тот самый доминирующий информационный поток, благодаря которому режиму удастся управлять массами с помощью лжи, несмотря на сохранение встроенных в систему островов свободы. Демократическое движение должно крепко усвоить опыт посткоммунистического неототалитаризма, чтобы не повторить ошибок впредь.

Начну с мер экономического характера.

Главная беда российской прессы, как это ни парадоксально, вовсе не цензура, а бедность. Последние два десятилетия основным в борьбе за свободу слова был не политический фронт (как многие считают), а экономический. В посткоммунистической России никогда не было по-настоящему экономически независимых СМИ. Но до дефолта 1998 года у СМИ сохранялась некоторая свобода маневра — свобода выбора от кого зависеть, и в этом была своя специфическая свобода. А затем начался процесс тотального огосударствления СМИ, и где-то к 2006–2008 годам их единственным донором стало государство (прямо или косвенно). Именно тогда по свободе прессы и, соответственно, по свободе слова был нанесен самый главный и самый страшный удар, от которого они так никогда уже и не оправались.

Вместо того чтобы оказать независимым СМИ системную и прозрачную поддержку и помочь им выйти из затруднений, правительство воспользовалось этой ситуацией и провело масштабную косвенную национализацию независимых медиа, сменив прежних собственников — зачастую путем рейдерских захватов и уголовно-правового давления. Добыча была подвешена между различными госкомпаниями и аффилированными с режимом финансово-промышленными группами. И со временем государство как собственник или как спонсор получило косвенный контроль над всеми сколь-нибудь значимыми информационными ресурсами. Картина видится еще более безрадостной, если переключить внимание с грандов медийного рынка на провинциальную прессу, пребывающую в совсем уже бедственном положении.

На первый взгляд идеальным решением проблемы могло бы стать создание нормальной рыночной среды для работы медиа как в онлайн, так и в офлайн, где государство выступает исключительно в роли беспристрастного арбитра и регулятора. Но, к сожалению, как показывает мировая практика, сегодня такая модель не работает почти нигде. Все больше СМИ либо являются дотируемым вспомогательным бизнесом, либо существуют на спонсорские взносы, которые делаются исходя из самых разных мотивов, в том числе политических.

Точно так же лишь немногие страны могут обойтись без средств массовой информации, субсидируемых из бюджета, и Россия еще долго не будет входить в число этих стран. Поэтому для нас актуально, как именно организовано субсидирование СМИ из бюджетных средств и как именно организовано управление СМИ, субсидируемых из бюджетных средств. Ответив последовательно на эти два вопроса, мы во многом решим задачу нейтрализации тоталитарных притязаний государства на формирование описанного выше доминирующего информационного потока.

Если бюджетная поддержка медиа нужна и неизбежна, то надо добиться того, чтобы она была прозрачной и чтобы ни отдельные чиновники, ни и вся их корпорация не могли быть бенефициарами этого субсидирования. Или, проще говоря, не могли бы за каждый скормленный (прессе) витамин требовать массу мелких услуг. Все, что делает государство в информационной сфере, должно делаться в интересах общества и под контролем общества, а не в интересах чиновничества и под контролем чиновников.

Распределение бюджетных фондов для поддержки медиа должно быть открытым, политически нейтральным и проходить на конкурсных началах с силами представителей общественности. Необходимо законодательно запретить любое скрытое финансирование государством медийных проектов (наподобие знаменитой «фабрики троллей») и положить конец эпохе «спецжурналистики» за государственный счет.

Если удастся стабилизировать информационный рынок и создать условия для свободного возникновения разнообразных СМИ, которые будут функционировать либо на собственной ресурсной базе (то есть быть экономически состоятельными), либо при государственной поддержке на прозрачных условиях под контролем общества, то тогда можно сосредоточиться на второй стороне проблемы — политических гарантиях независимости СМИ. Ибо государство помимо того, что закабалило медиарынок, еще и прямо вторгается в информационное пространство, активно злоупотребляя своим положением и ресурсами — в данном случае не столько экономическими, сколько административными.

Если вдуматься, в нашем распоряжении довольно ограниченный набор инструментов, при помощи которых можно эффективно бороться с госпропагандой, не препятствуя существованию свободы слова в России. По сути, государство выступает по отношению к медиарынку в двойном качестве: как регулятор, устанавливающий правила игры, и как сам игрок. Чего мы хотим от государства как от регулятора, понятно: усилий по формированию добросовестной конкурентной среды и гарантий каждому свободе слова. Но чего мы хотим от государства как от игрока? На этот вопрос ответить чуть сложнее. Государство, будучи учредителем ряда СМИ, автоматически получает «естественные» возможности влияния на их политику. Но государство — особый собственник, по сути, это мы. Государство распоряжается не своими, а коллективными деньгами. Как быть?

Выход давно найден в странах с развитой демократической системой. Информационные ресурсы, созданные государством или с его помощью, передаются в доверительное управление представителям гражданского общества. Государственным телевидением и другими аффилированными с государством информационными институтами руководят трасты или общественные советы, формируемые непосредственно представителями гражданского общества, и государство по закону не может влиять на их состав, а на практике эта возможность всячески ограничивается. Процедура формирования Советов делается максимально прозрачной, обеспечивающей независимый от власти и уважаемый обществом, состав. Нарушения же, сговор, давление переносятся в сферу обычного криминала. Деятельность этих институтов регулируется специальными уставами (правилами), исключаящими саму возможность законного превращения этих ресурсов в инструменты манипулирования общественным мнением в интересах отдельных групп и лиц.

И последнее — по очередности, но не по значению. Свобода слова и открытость общества были и остаются важнейшим измерением демократии, ее соединительной тканью. Их защита от покушений всякого рода охранителей чего бы то ни было — важнейшая задача демократического движения. Но свободой слова умеют изощренно пользоваться и те, чьей целью является

уничтожение всякой свободы. Велик соблазн им этой свободы не давать.

Тонкость защиты свободы слова состоит в том, что в этой борьбе легче, чем где-либо, выплеснуть воду вместе с ребенком. Ведь можно устроить такую борьбу с госпропагандой или каким-либо иным злом, что мало не покажется никому, и на месте отвратительной пропаганды появится еще более отвратительная контрпропаганда. Как это ни противно, но надо признать, что свобода есть у любого слова. К попыткам ввести ограничения на то, что можно и чего нельзя говорить, писать, показывать, транслировать и так далее, надо относиться очень осторожно. Хочешь запретить какое-нибудь одно-единственное слово — и вскоре с удивлением обнаруживаешь, что под запретом оказался весь толковый словарь.

Моя личная позиция — все сомнения здесь, как и в уголовном праве по отношению к обвиняемому, должны разрешаться в пользу свободы слова. Лучше пусть кто-то сможет сказать что-то гадкое, чем другой будет лишен возможности узнать что-то важное и необходимое. Приоритет свободы над охранительными мерами — вот главный принцип, которого стоит придерживаться, чтобы не сбиться с курса.

Убежден, например, что скучнейший, человеконенавистнический «Майн кампф» и фейковые «Протоколы сионских мудрецов», точно так же как «секретные приложения» к соглашению между Гитлером и Сталиным, должны быть открыты для любого интересующегося, а не становиться неким «тайным знанием».

Этот принцип часто бывает сложно реализовать на практике даже чисто психологически, но надо учиться и находить другие, не только запретительные методы подавлять проявления экстремизма всех сортов.

Мы должны научиться жить в мире, где все время приходится сосуществовать с чем-то, что лично для нас может быть неприемлемым. Но лишь такой мир — по настоящему стабильный и комфортный.

Парламентская или Президентская Республика?

Дискуссия о президентской и парламентской республике в России как мерцательная аритмия политической мысли — то вспыхивает, то затухает снова. С сугубо утилитарной точки зрения она не кажется сверхактуальной и больше напоминает дележ шкуры неубитого медведя. Многие так и говорят: давайте сначала создадим то демократическое содержание, которое можно облечь в приличную политическую форму, а там поговорим. Тако оно так, но есть одна сложность — в России политическое содержание срослось с политической формой. Срослось настолько крепко, что если не убрать сложившуюся политическую форму, то никаким иным содержанием — кроме того, что есть, — ее наполнить нельзя.

Так что вопрос о будущей политической форме российской демократии не является умозрительным и преждевременным. Ответ на него — своего рода политическая лакмусовая бумага, демонстрирующая серьезность намерения сломать российскую самодержавную традицию, готовность идти в этом деле до конца, а не менять одну форму самодержавия на другую и тем более одного царя на другого. Это вопрос не конституционного строительства, а политической философии, то есть вопрос сугубо

идеологический. Но, может быть, именно поэтому его следует решить в первоочередном порядке.

И впрямь, собственно конституционно-правовое значение политической формы в России несколько преувеличено. Вряд ли можно всерьез утверждать, что парламентская республика демократичнее президентской, и наоборот. Как показывает мировой опыт, в рамках обеих моделей — и президентской, и парламентской — всегда можно создать адекватную форму свободного народного представительства со встроенным эффективным разделением властей. В то же время любую политическую форму можно выхолостить до пустой оболочки авторитарной и даже тоталитарной системы. Нелишне напомнить, что СССР был формально парламентской республикой. Более важным в практическом смысле является вопрос интеграции всей исполнительной власти включая президента, в систему разделения и баланса властей. Так в чем же тогда дело?

Дело в специфике России, в особенностях ее политической истории, культуры и традиции. Нередко чисто механически говорят о современной России как о президентской республике. Это, мягко говоря, большое преувеличение — она не только не президентская (несмотря на наличие в ней президента), но и в точном смысле не республика. За последние сто лет ни один руководитель российского государства не пришел к власти путем полноценных и действительно демократичных выборов (победа Ельцина в июне 1991 года была одержана на выборах регионального масштаба внутри Советской империи).

История России в XX веке чем-то похожа на историю Рима эпохи солдатских императоров: в большинстве случаев несменяемые диктаторы либо правили страной до своей смерти, либо теряли власть в результате государственных переворотов. Иногда первое и второе совмещалось. Таким образом, самодержавие было и остается доселе единственной политической формой, «естественной» для России. Точнее — это и форма, и содержание одновременно. И это, как писал первый «красный царь» Ленин, объективная реальность, данная нам в ощущениях. Отношение к этой реальности — главный вопрос будущего России и главный же политический водораздел.

Вопрос стоит так: готовы ли мы ломать эту устоявшуюся русскую самодержавную традицию бескомпромиссно, даже через колено, или мы все-таки, несмотря на все демократические лозунги, в глубине души хотим остаться в парадигме поисков доброго царя, который одарит Россию свободой? Выбор президентской модели даст больше простора для срабатывания в будущем врожденных самодержавных инстинктов российской политической культуры, оставит власти гораздо больше путей отхода от демократических преобразований, чем выбор парламентской модели.

Вот та главная и единственная причина, по которой я считаю парламентскую республику для России моей мечты более предпочтительной. Мы слишком много раз экспериментировали с персоналистскими моделями власти, и поэтому сегодня надо просто «резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов». Сколько бы раз мы ни собирали российскую политическую систему из кусочков, как конструктор лего, — у нас всегда получалось как в старом анекдоте о рабочем, который выносил с завода запчасти от разной мирной продукции, но когда собирал их дома, у него почему-то все время выходил только автомат Калашникова. То есть сколько ни собирай президента России из конституционных деталей — всегда выходит царь.

Хотя президентская республика обычно противопоставляется парламентской, учитывая существование множества промежуточных президентско-парламентских форм, ухватить их существенное различие не так уж просто. В конечном счете речь идет о глубине разделения властей и его конкретной конфигурации. В разделении власти в рамках парламентской республики есть некое дополнительное измерение — властный водораздел внутри исполнительной ветви власти, ее разветвление на главу государства и главу исполнительной власти.

Итак, в парламентской республике появляется дополнительное измерение демократии. Причем это деление внутри исполнительной вертикали может быть очень разным. Глава государства может быть чисто номинальной фигурой (вроде английской королевы, как в современных конституционных монархиях), может тем не менее играть определенную политическую роль арбитра

(как в современной Италии), а может и осуществлять важную и даже определяющую часть властных полномочий (как во Франции — особого рода президентско-парламентской республике). Никакого общего правила или стандарта в этом вопросе не существует.

Выбор конкретной модели парламентской республики — это центральный вопрос перспективного конституционного строительства. В значительной мере создание эффективной модели есть проявление высокого искусства конституционного творчества. Все успешно работающие модели возникали на стыке творческой интуиции и глубокого знания особенностей национальной культуры.

Общества, на самом деле, обладают еще более ярко выраженной индивидуальностью, чем отдельные люди. И тем не менее есть некие общие принципы, по которым в любом случае изготавливаются работающие модели.

Один из таких фундаментальных принципов при конструировании парламентской республики — взаимоотношения между парламентом и правительством. Какими бы ни были вариации парламентской республики, одна константа присутствует всегда: председатель правительства и все правительство подотчетны парламенту, назначаются им и отправляются им в отставку.

Почему это важно именно в России? Потому что сразу же резко поднимает акции парламента на политическом рынке. Те самые акции, которые на российской институциональной бирже до сегодняшнего дня относились к категории трэшевых. Их скупали одни Медведи, играющие на понижение. Если парламент станет единственным органом, назначающим правительство и отправляющим его в отставку, то в России настанет час Быка. Тогда вверх пойдут акции не только парламента, но и всего связанного с ним демократического кластера.

Если парламент займет центральное институциональное место в политической системе России, то автоматически вырастет цена депутатского мандата — а значит, и всей избирательной процедуры.

При этом провести выборы в парламент «на одном обаянии», как обычно проходят в России выборы президента, будет гораздо

сложнее. Попутно резко возрастет цена регионального представительства в обеих палатах, поскольку в этих условиях от его количественного и качественного состава будет напрямую зависеть удовлетворение жизненных потребностей территории.

Значит, наполнится реальным содержанием система федеративных отношений, сегодня существующая как декорация при строго централизованном унитарном государстве. Это в свою очередь потянет за собой компенсаторное развитие местного самоуправления, с целью не допустить феодализации России и возникновения удельных княжеств.

Таким образом, переход к парламентской республике оказывается именно тем самым ключевым звеном, потянув за которое можно вытащить всю демократическую цепочку.

Разумеется, переход от самодержавной и строго централизованной персоналистской системы правления, существующей в России несколько столетий, к системе парламентской демократии — это политический шок. Это неизбежный и необходимый шок.

Именно переход к парламентской республике является единственным реальным способом перезагрузить политическую систему России, и именно в этом, а не в чем-то другом состоит ее преимущество перед президентской республикой.

Все это хорошо, — говорят обычно в ответ противники парламентской республики, — но имеем ли мы право ставить над Россией эксперименты? Это огромная страна со специфическим жизненным укладом, которая привыкла к тому, что власть носит строго персонифицированный характер. Люди не поймут и не оценят ваших добрых намерений, не смогут и не захотят воспользоваться благами парламентской демократии, а быстро скатятся в анархию и смуту.

Добавьте к этому, что Россия — это до сих пор Империя, огромный котел, в котором варятся представители самых разных народностей и конфессий, так и не ставшие гражданами национального государства. Убери фигуру вождя, являющегося видимым воплощением власти (неважно, как его называют), — и страна распадется на части.

Что на это можно ответить? Все эти риски не надуманны и реально существуют. Проблема в том, что они ничуть не уменьша-

ются от замены одного персоналистского режима другим. Если мы не изменим систему развития российской государственности, то каждый следующий режим, каким бы многообещающим он ни был, через несколько лет, а то и месяцев неизбежно снова станет самодержавным. А каждое следующее самодержавие будет хуже предыдущего — это несомненно. И в конце концов произойдет именно то, чего опасаются противники парламентарной демократии: страна распадется на части. Но уже без каких-либо шансов на спасение и навсегда. Парламентская республика оставляет нам хотя бы шанс побороться.

В итоге все сводится не столько к практически-политическому, сколько к идеологическому выбору. Полагаете ли вы, что попытка сломать персоналистскую модель управления России создает неприемлемые риски? Если да — имеете право.

Но тогда возникает вопрос: а какие у вас сущностные разногласия с провластными силами, стоящими на аналогичных позициях? Конечно, они предлагают ради спасения России сохранить в ней пещерный абсолютизм, а вы надеетесь управлять долго с помощью просвещенного абсолютизма. Но пятьсот лет российского абсолютизма учат нас тому, что за «серыми» всегда приходят «черные».

Персоналистская модель для России как политический наркотик. Никто не отрицает, что страна давно и прочно на него подсе-ла, и случилось это задолго до Путина. Отказ от такого мощного наркотика может вызвать у общества ломку, и не исключено, что при неких обстоятельствах в процессе этой ломки могут возникнуть ситуации, создающие угрозу жизни. Означает ли это, что мы должны смириться с этой политической зависимостью и отказать от попыток слезть с иглы самодержавия?

Парадоксальным образом в самом недалеком будущем может возникнуть ситуация, когда сама власть, преследуя свои собственные узкокорыстные политические интересы, попытается сымитировать конституционную реформу, одним из важнейших моментов которой будет переход от президентской к парламентской республике.

Не факт, что это произойдет именно так, но одним из обсуждаемых сценариев разрешения конституционной коллизии, не

позволяющей Путину быть бессменным президентом после 2024 года, является превращение его в бессменного премьер-министра, с передачей ему всей полноты власти.

Понятно, что такая конструкция никакой парламентской республикой на самом деле не будет, а будет обычной фальшпанелью, прикрывающей безобразие абсолютистского режима. Естественно, возникает вопрос: как должно отнестись демократическое движение к этой имитации парламентской демократии?

Первое движение души — конечно же, отрицание. И потому, что это дискредитация идеи и способ консервации режима, и просто потому, что это предлагает Кремль. Это как у Бродского: «Если Евтушенко против колхозов, то я — за». Однако на самом деле, чем бы ни мотивировалось такое решение властей, это движение в нужном направлении.

Им надо воспользоваться как плацдармом и потребовать превращения декоративной парламентской республики в реальную, а бессменного премьера — в сменяемого после честных выборов в обновленный парламент.

Правовое государство или Диктатура закона?

Если провести опрос на улице и поинтересоваться у прохожих, что они думают о правовом государстве, то подавляющее большинство ответит: это такое государство, где соблюдается закон. Это похоже на правду, но — неправда! Будь все так просто, самым правовым государством оказался бы третий рейх — уж что-что, а законы там соблюдались, и пойманный на взятке начальник концлагеря легко мог стать его узником. Значит, дело все-таки не только и не столько в соблюдении законов, сколько в их природе.

Правовое государство — это государство, в котором соблюдаются законы, соответствующие определенным критериям. Что это за критерии и почему это так важно?

Испокон веков власть имущие облекали свою волю в форму закона и требовали от остальных подчинения этому закону, то есть своей собственной воле. Приблизительно такое архаичное понимание законности господствует до сих пор в России. Кстати, Ленин и большевики со своим классовым подходом к праву недалеко ушли от этой архаики. Диктатура закона, о которой так любят говорить в Кремле, — это диктатура ничем не обузданной «дикой» воли одного клана, узурпировавшего власть и бессменно удерживающего контроль над Кремлем уже более двух десятилетий.

Законы, диктатуру которых прославляет Кремль, существуют с одной-единственной целью — придать видимость легитимности голому произволу. Это законы политического насилия. Одно из неприятнейших следствий такого положения вещей — неспособность системы к любой конструктивной эволюции. Насилие порождает лишь еще большее насилие. И надеяться на то, что из неправовых законов с годами естественным путем вырастут законы правовые, — утопия.

Собственно, одна из главных причин, по которой человечество искало пути избавления от неправовых законов, — это желание избавиться от революции как от единственного способа добиться изменений в обществе.

Все, кто по-настоящему глубоко осмыслил революцию, понимали, что это очень тяжелый, но неизбежный налог, который общество платит истории за прогресс. Неизбежным налогом стал именно потому, что действующие законы были выстроены таким образом, чтобы практически и теоретически исключить любые перемены.

Отсюда и отношение к революции как к необходимому злу. Любить и желать революцию — так же противоестественно, как и желать себе и окружающим больше боли (хотя, конечно, есть и те, кому это нравится и кто испытывает наслаждение, погружаясь в революционную стихию). Но в безысходной ситуации большая часть общества склоняется на сторону революции как на сторону меньшего зла.

Если жизнь при старом режиме становится невыносимой, если все внутренние противоречия, свойственные этому режиму, соединяются в один нераспутываемый клубок, если все легальные сценарии поведения лишь способствуют продолжению произвола, то естественной становится мысль о том мече, который разрубит этот gordiev узел. Это настолько неизбежно, что нет смысла уделять этому много внимания.

Революция в России — это только вопрос места и времени, чуть в меньшей степени — вопрос формы. А вот что действительно стоит обсуждать, так это принятие мер, которые помогли бы в дальнейшем вырвать Россию из порочного исторического круга, где вслед за каждым ухабом начинается революция. Един-

ственный способ этого добиться — перейти от неправовых законов к правовым.

Казалось бы, есть простой ответ на все вопросы: надо сделать все законы конституционными. Но это кажущаяся простота.

Во-первых, сугубо формально все действующие законы внешне выглядят как конституционные: ни в одной из преамбул ни одного, даже самого одиозного закона не написано, что он принят в противоречии с буквой и духом Конституции.

Во-вторых, что такое дух Конституции, в России каждый понимает по-своему, иногда весьма своеобразно.

И, наконец, мнение о конституционности законов в России могут иметь только судьи, а судьи здесь известно кто. В подавляющем большинстве случаев неконституционность законов задранирована правоприменительной практикой, но парадокс в том, что и сама практика давно стала частью законодательства. Это косвенно подтверждается решениями Конституционного суда, сплошь и рядом вынужденного высказываться о законах в том специфическом смысле, который им придается правоприменительной практикой. Поэтому поменять практику, не меняя законы, не получится.

То есть простые решения в этом случае не работают. Надо копать глубже и докапываться до тех обстоятельств (факторов), которые превращают законы в правовые, не ссылаясь на бесполезную для этой задачи Конституцию. Таких обстоятельств, строго говоря, два: законы становятся правовыми благодаря определенной процедуре их принятия и вследствие их соответствия определенным принципам.

При этом каждого в отдельности условия недостаточно — всегда важны и процедура, и содержание. Если совсем коротко, то закон является правовым, если он принят полноценным, по настоящему независимым от других властей парламентом, избранным на основании демократического избирательного закона, — единственным легитимным законодательным органом.

Смысл этого требования прозрачен. Правовой закон должен быть выражением не единоличной воли властителя и не клановой (классовой) воли группировки, захватившей власть, а консолидированной воли всего гражданского общества. Именно эта

консолидированная воля легитимизирует общеобязательность законов, является основанием для полномочной власти требовать его неукоснительного соблюдения всеми.

Парламент — это плавильный котел, в котором политическая воля гражданского общества превращается текст законов.

Присмотревшись к работе парламента повнимательней, мы увидим, что, помимо консолидации политической воли различных фракций гражданского общества, каждая из которых имеет свои особые интересы, у него есть и другая функция. В парламенте соединяется простое и квалифицированное (экспертное) мнение по любому вопросу, ставшему предметом общественной дискуссии.

Именно поэтому так важно, чтобы парламент был независим и по отношению к исполнительной власти, и по отношению к избравшему его обществу (на период срока полномочий и не абсолютно, конечно).

В парламенте политическая воля простого избирателя проходит сквозь сито экспертной оценки. И наоборот, мнение самих экспертов проходит сквозь сито высшей политической экспертизы.

Очень важно именно соблюдение баланса. Все последние годы мы наблюдали, как экспертное мнение, навязываемое правительством, доминировало над мнением гражданского общества. Это приводило к тому, что законы просто переставали работать, ибо не принимались обществом.

Впрочем, и диктат общества привел бы к такому же результату, но уже по прямо противоположной причине — практической неисполнимости политических хотелок.

Процедура принятия правовых законов очень сложна, потому и очень важна. В ней огромное число «мелочей», вроде бы сущих формальностей, ни одной из которых нельзя пренебречь. Эта система складывалась веками, если не тысячелетиями, и вобрала в себя интернациональный политический опыт. При этом для каждой культуры, для каждой конкретной исторической ситуации она своя.

России предстоит тщательно осмыслить и освоить этот опыт парламентаризма — без слепого подражания и упрощений,

а только для того, чтобы на его основе выработать ту единственно подходящую систему, нормальная работа которой позволит принимать правовые законы.

Необходимо добавить, что никакая самая лучшая форма не сможет подменить собою содержания. Наилучший парламент, где консолидирована политическая воля гражданского общества и где сложился идеальный баланс общественного и экспертного мнения, сам по себе не гарантия того, что законы — правовые (хотя без парламента они уж точно не будут правовыми). Эти законы должны еще и отвечать неким критериям, то есть строиться вокруг принципов, существующих вне времени и вне пространства.

Эти принципы — в определенном смысле политические аксиомы, принимаемые обществом либеральной демократии априори, то есть на веру.

Парадоксальным образом не так важно, записаны ли они в Конституции, отлиты в граните или существуют только в головах граждан. Есть страны, у которых не имеется письменной Конституции, но в которых принципы строжайше соблюдаются. Есть и другие страны, где существует многословная Конституция и расписаны принципы на все случаи жизни, но ни один из них не соблюдается. Важно не то, как и где записано, а то, как это отложилось в головах.

На мой взгляд, таким основополагающим принципом является свобода. В общем-то, это неудивительно: ведь право в некотором роде и есть мера свободы. Такое понимание права сложилось вследствие соединения западной античной (греко-римской) традиции и христианских традиций. Можно предположить, что в нем и состоит суть европеизма и модерны.

Именно по нашей способности принять такую концепцию права и правовых законов мы сможем в итоге судить о том, готова ли Россия быть европейской страной. Все остальные признаки гораздо менее существенны и показательны.

Чтобы понять, является ли тот или иной закон правовым или нет, его нужно подвергнуть экспертизе под этим политическим микроскопом. И никакое формальное соответствие чему бы то ни было, никакое текстуальное совпадение само по себе не

доказательство правильности закона. Это особенно важно подчеркнуть, имея в виду привычку Кремля ссылаться на международную практику и прикрывать свой произвол решениями оскопленного им Конституционного суда.

Действительно, принимаются ли законы о митингах, об экстремизме, о неуважении к власти или законы о массовых беспорядках, о досудебных соглашениях со следствием, об упрощенном судопроизводстве по уголовным делам и так далее — мы постоянно слышим, что в России все точно так же, как «там» и «у них», и даже намного лучше.

Да, если сравнивать формулировки законов, то найдется много общего. Но вот беда: одни и те же формулировки работают в разных политических средах по-разному и приводят к разным результатам. А это значит только одно: сравнение по формулировкам не годится. Надо смотреть глубже.

В каждом конкретном случае мы должны с учетом реальной экономической и социально-политической ситуации устанавливать, способен ли данный закон защите прав и свобод человека или нет.

Причем сделать это будет не так просто, как многим кажется. Ведь принцип свободы зачастую вступает в конфликт с другими принципами и ценностями, охраняемыми Конституцией. Скажем, свобода шествий и собраний, очевидно, ограничивает права тех, кто никуда не шествует и нигде не собирается, а хочет, к примеру, просто вкусно и бесппроблемно поесть в кафе на том же бульваре. Это реальное противоречие. Как быть?

Его можно решить либо в пользу шествующих — явное меньшинство, либо в пользу желающих нормально отдохнуть — явное большинство. Российская власть решает это противоречие, конечно, в свою пользу, но при этом прикрывается большинством, которое всегда за то, чтобы поесть. Потому законы о митингах в России вроде бы такие же, «как в Европе», а действуют в реальной жизни, как в «Азиопе» (иронический термин, используемый в противовес Евразии).

А все потому, что любая коллизия должна решаться не в пользу большинства или меньшинства, а в пользу свободы как самоудовлетворяющей ценности. В конкретном случае вопрос надо решать

таким образом, чтобы приоритетная защита предоставлялась свободе политического действия.

Только закон, имеющий в основе такой подход, может считаться правовым.

Интересно, что в этом вопросе Россия за годы правления Путина невероятно далеко удалилась от Европы в сторону Азии. Некоторые адепты диктатуры закона договорились до того, что предложили пересмотреть общепринятую еще с советских времен иерархию отраслей законодательства, утверждая, что у нас на вершине пирамиды находится не конституционное, а уголовное право. Это, конечно, очередная верноподданническая глупость, но при этом очень симптоматичная.

Они говорят «закон» — подразумевают «самодержавие», а когда говорят «самодержавие» — подразумевают «закон».

Почему я так подробно останавливаюсь на этом вроде бы отвлеченном и сугубо философском вопросе? Потому что он, с моей точки зрения, — основополагающий. Есть вещи, которые никому не надо доказывать. В оппозиционной среде сложился консенсус в отношении нынешней правоохранительной и судебной системы как системы антиконституционной и нуждающейся в глубоком революционном преобразовании. Существует множество предложений, как это сделать, и большинство из них не лишены смысла и весьма полезны.

Написаны фундаментальные многостраничные доклады и короткие блистательные эссе, содержащие конкретные предложения и целые концепции реформ. Общие рамки понятны: расширение компетенции судов присяжных, укрепление независимости судов, превращение ФСБ из «второго правительства» в орган, сосредоточенный на борьбе с терроризмом и шпионажем, разукрупнение и диверсификация спецслужб в целом, кардинальное изменение роли прокуратуры и многое другое. Но все эти предложения будут бесполезны, если не произойдет главная революция — в головах, если у людей не возникнет понимание сути концепции правовых законов.

Любую структуру можно окоротить, любой механизм можно извратить, любую гарантию можно обойти, если нет консенсуса по вопросу о главном принципе — о том критерии, с помощью

которого оценивается успех или неуспех реформ. И этот критерий один — свобода. Именно приоритет свободы отвергает неправовой закон и принимает правовой, отвергает опасную для общества диктатуру закона, являющуюся фиговым листком нового самодержавия, и делает государство правовым.

Справедливость или Милосердие?

Макс Вебер как-то заметил, что если поскрести любую самую рациональную теорию, то на самом ее дне обнаружится какая-то совершенно иррациональная идея, которую мы принимаем на веру и которая скрепляет собою все то, что кажется нам абсолютно рациональным и логичным.

Точно так же в основе любой политической программы в конечном счете лежит тот или иной нравственный императив, за который мы голосуем не умом, а сердцем. Это голосование сердцем оказывается важнее голосования разумом, и логические ошибки в большинстве случаев поправимы, а ошибки нравственные обычно фатальны.

Общепризнано, что базовым нравственным императивом для политики является справедливость. Общество болезненно реагирует на любое нарушение баланса справедливости и, если стрелка маятника слишком отклоняется, восстанавливает этот баланс с помощью революции. Если спросить человека, в чем суть справедливости, очень мало кто сможет ответить на этот вопрос. Но если спросить человека, считает ли он, что Россия управляется сегодня «по справедливости», то подавляющее большинство людей, включая многих сторонников режима, ответят однозначно: нет.

В этом, собственно, и заключена главная проблема режима. На нравственном уровне он отторгается большинством тех, кто за него привычно политически топит. Момент восстановления справедливости можно оттягивать, но его нельзя избежать. Рано или поздно этот тайный рычаг политики сработает и перевернет очередную страницу истории.

Казалось бы, нет ничего проще, чем вернуть в политику мораль: надо просто восстановить справедливость. Но при ближайшем рассмотрении со справедливостью все оказывается не так просто, как кажется.

Во-первых, справедливость у каждого своя, и очень трудно найти общий знаменатель одной на всех справедливости. А во-вторых, что еще важнее, цена восстановления баланса справедливости зачастую оказывается непомерной. Нельзя забывать, что большевистская революция произошла именно на гребне волны поисков русским народом справедливости и декларировала как цель именно строительство самого справедливого в мире общества. Однако обернулось все это еще большей несправедливостью, растянувшейся на долгие десятилетия.

Выходит, что поиски справедливости сами должны быть чем-то сбалансированы. Нужен баланс для баланса, чтобы не превращать историю в песочные часы, время от времени переворачиваемые революцией вверх дном. Каждый раз, вознамерившись весь мир насилья разрушить до основания, а затем построить наш, новый мир, мы, как в упомянутом анекдоте, собираем «автомат Калашникова», из которого вновь и вновь уничтожаем и российское гражданское общество, и ростки правового государства.

Чтобы это не повторялось вновь и вновь, стихийные поиски справедливости надо вводить в рамки. Эту рамку, на мой взгляд, можно создать только одним способом: положившись на еще более глубокий и более универсальный нравственный принцип, чем справедливость.

Для меня таким принципом является милосердие.

Милосердие — это способность сопереживать и прощать, это справедливость «второго порядка». Если справедливостью мы меряем политику и право, то милосердием мы меряем саму справедливость — не даем ей обернуться своей противоположностью.

Ирония истории состоит в том, что все обещания построить более справедливый мир обычно заканчиваются строительством справедливого концлагеря. Справедливость для одних очень быстро диалектически перерождается в жестокую несправедливость для других. Восстановление справедливости оказывается каждый раз дорогостоящим проектом, за который расплачиваются и ее искатели, и следующие поколения.

Если мы не хотим повторить ту же историю, то надо признать, что голая справедливость и голая правда выглядят не так очаровательно, как наши на них надежды. Только опираясь на милосердие, мы имеем шанс превратить наши умные решения в мудрые. Это не просто слова, как может показаться, а попытка предложить другую точку отсчета для осмысления и решения важнейших практических вопросов нашего политического бытия.

Какие прямые и непосредственные последствия может иметь для дискуссии о будущем России то, что во главу угла мы поставим справедливость, проверенную милосердием? Их достаточно много.

Во-первых, исчезнет четкая граница между «мы» и «они». Мы — святые, они — исчадие ада. Поняв не только себя, но и других, провести такую границу невозможно.

Мы все, пусть и в разной степени, несем ответственность за то, что случилось «с Родиной и с нами». Одни — из-за соучастия, другие — из-за неучастия. Нет абсолютно во всем правых и абсолютно во всем виноватых. В вопросе ответственности между бенефициарами режима и жертвами режима нет Китайской стены.

С точки зрения «революционной справедливости» есть два лагеря — страдали мы, теперь страдайте вы. С точки зрения милосердия есть одно общество, одна нация, один народ. Да, он болен, он страдает от падения морали и культурной деградации. Но в той или иной степени это касается всех. Мало кто может сегодня предложить себя в качестве безгрешного метателя камней.

Во-вторых, и это следует из первого, прежде чем требовать изменений от других, надо быть готовыми меняться самим. В каждом из нас есть частичка яда, который надо из себя выдавливать.

Если энергия общества будет сосредоточена исключительно на поиске и наказании виновных, но при этом все мы останемся прежними, то ничего хорошего из такой борьбы за справедливость не выйдет. Только если мы сами будем меняться в сторону большей честности по отношению к самим себе и большей терпимости по отношению к непохожим на нас, то у нас есть шанс не впасть в какую-нибудь очередную социальную крайность и не заменить одних сатрапов и хапуг на других.

В-третьих, развивая мысль в том же направлении, исторический опыт подсказывает, что простить оказывается иногда дешевле, чем покарать. Естественное и справедливое желание мести, если дать ему полную волю, превращается во всепожирающий огонь, уничтожающий не только того, кому мстят, но и того, кто мстит. Мечь, в том числе социальная и политическая, не может и не должна становиться доминирующей общественной идеей, всепоглощающей общественной страстью — иначе не избежать беды. Обличая и бичуя режим (а это необходимое условие очищения), мы все-таки должны помнить, что прощение важнее наказания и что каждый имеет право на покаяние. Через озлобление и месть нового общества не построишь.

В-четвертых, надо различать «первых учеников» и тех, кто «жил как все». Их вклад неодинаков, и судьба должна быть разной. За четверть века сложилась развращающая, аморальная матрица социального поведения, в которой добро и зло, черное и белое поменялись местами. Десятки миллионов людей втянулись в эту матрицу и жили по ее понятиям. Многие, кстати, не осознавали, что соучаствуют в преступлениях режима, а многие — вполне осознавали, но действовали «неинициативно».

Но были и «первые ученики» — те, кто создавал и пестовал эту матрицу, развращая нацию и делая государство мафиозным. Они же стали и главными бенефициарами. К ним должен быть иной подход.

В-пятых, мы должны, наконец, понять: хотя переделать сложней, чем расстрелять, задача состоит именно в том, чтобы переделать, убедить жить по-новому, играть по новым правилам.

Мы не можем завезти с Луны другой народ и заменить прежний идеальными гражданами. Практически все наши чиновники

коррупцированы, и не потому, что от рождения такие уроды, а потому, что в сложившейся матрице иначе не получается: не будешь красть — не выживешь. Но мы не можем просто в один день уволить всех чиновников. Культурный и подготовленный слой очень узок и тонок — попробуй кто-нибудь пойти на такой эксперимент, и страна вмиг станет неуправляемой.

Кстати, это очень быстро понял Ленин, когда коммунистическая Россия за полтора года свалилась в разруху и голод. Даже если бы мы смогли уволить всех чиновников и набрать на их место новых и свежих людей из народа, то очень скоро обнаружили бы, что эти новые люди обирают народ похлеще прежних хозяев жизни. И это в России видели не один раз. Задача не в том, чтобы убрать, устранить, а в том, чтобы заставить работать по-новому, что гораздо сложнее.

Все это побуждает меня высказаться по двум важнейшим темам общественной дискуссии последних лет — о люстрации и о революции.

Люстрация. Есть мнение, отчасти оправданное, что компромиссность горбачевско-ельцинской революции, особенно в вопросах запрета деятельности компартии и люстрации сотрудников КГБ СССР, сыграла роковую роль в истории посткоммунистической России и привела нас туда, где мы сейчас находимся. Это кажется правдоподобным, учитывая ту роль, которую выходцы из КГБ СССР сыграли в начале XXI века в решительной реставрации советского режима, и ту оппортунистическую роль, которую играют сегодня самозванные наследники КПСС, скатившиеся на старости политических лет к «православному сталинизму» и черносотенному популизму.

Нужно ли извлечь из этого урок на будущее и, когда режим рухнет (а он рано или поздно обязательно рухнет — это лишь вопрос времени), обрушить карающий меч на всех сотрудников силовых структур, судей, прокуроров и так далее? Нужно ли запретить, наконец, коммунистов, а заодно лишить права поступления на государственную службу членов «Единой» и «Справедливой России», адептов ЛДПР, активистов ОНФ?

Выглядит заманчиво. Настораживает, что в Украине и в Грузии, где нечто подобное воплотили в жизнь, это не особенно помогло.

Во-первых, по причинам, указанным выше, — всех не перестреляешь, работать некому будет.

Во-вторых, нет никаких гарантий, что те, кто придут на смену, будут намного лучше.

В-третьих, многие из тех, кто работают сегодня в тех же силовых структурах, честно исполняют свой долг и с риском для жизни действительно борются с терроризмом и криминалом.

Да, судьи у нас поголовно развращены и растлены беззаконием. Но, может быть, дело не только и не столько в судьях, сколько в растлителях? Если убрать кремлевскую банду, если провести серьезный разбор полетов, если дать людям, профессионалам возможность быть людьми и профессионалами... Нет, конечно, лучше начать с чистого листа, только вот где взять такой лист? Да и миллионы сограждан не пыль — смахнешь, и вот она, рябая сталинская рожа в зеркале...

Я против тотальной люстрации — мало где она была действительно эффективной. Более всех в этом вопросе продвинулись большевики: они фактически завершили люстрацию мясорубкой Большого террора 1937 года, но поставленных целей все равно не достигли.

Вообще подход ко всем с каким-то одним лекалом редко дает хороший результат. Безусловно, необходимо провести тщательное и масштабное расследование преступлений режима и выявить ключевых бенефициаров мафиозного государства, реальных виновников эскалации репрессий и произвола. Эти люди должны быть судимы и наказаны в рамках публичного и правового процесса (с соблюдением всех тех гарантий, которых сами они лишали других), даже если потом общество решит их амнистировать.

В отношении остальных, менее значимых персонажей достаточно ограничиться условными мерами.

Другое дело — институциональная люстрация, которая должна быть проведена самым строгим и последовательным образом. Суть не в том, что не были люстрированы офицеры КГБ СССР, а в том, что со временем этот самый КГБ был восстановлен как универсальная репрессивная институция, выполняющая роль второго (а иногда и первого) правительства. Такая люстрация —

не охота на ведьм, а безжалостное прореживание дремучего леса, превращающего людей в ведьм и леших.

У нас же обычно происходит наоборот: в борьбе за справедливость мы готовы перестрелять нечисть, как дичь, — и оставить нетронутым сам заповедник, в котором она водилась. Решение — настоящее, длительное, а не временное, — не в сведении счетов, не в люстрациях и чистках, а в глубоких институциональных реформах. Без чисток не обойтись, но они должны сдерживаться тем самым милосердием, которое окорачивает желание мстить.

Революция. Все идет к тому, что очередная революция в России становится неизбежной. Режим свалился в репрессивную колею, из которой, даже если есть желание, не так просто выбраться, а тут и желания никакого нет. Есть одно желание — удержать власть в своих руках любой ценой. Слово «любой» здесь ключевое. Это ощущение надвигающейся революции постепенно проникает в самые разные слои общества, инфицирует даже тех, кто в целом лоялен режиму и получает от этого немалые выгоды. Что уж говорить о тех, кто избрал стезю профессиональных революционеров...

Власть так много сделала, чтобы превратить революцию в пугало, что теперь пожинает обратную реакцию: для многих и многих людей революция, и чем более крутая, тем лучше, является самым желательным и самым позитивным исходом нарастающего кризиса.

Так ли хороша революция, как рисует ее наше воображение? Отнюдь нет. У революции есть своя, очень темная, оборотная сторона. Желать революции для человека вообще-то противостоит естественности, ибо это действительно великое потрясение для всего общества. Но теперь об этом уже поздно думать: она нужна, как нож хирурга. Понимая и принимая эту историческую необходимость и имея за плечами опыт, который есть у немногих народов мира, мы должны сделать, однако, все возможное, чтобы революция не превратилась в самоцель. Нельзя прекратить произвол и насилие путем организации фестиваля насилия и произвола.

Революции обходятся обществу слишком дорого, чтобы они становились инструментами сведения счетов и перераспределения ресурсов. Восхищаясь революциями на постсоветском пространстве,

мы обязаны помнить, что их среднесрочные результаты оказались далеки от ожиданий их вдохновителей и творцов.

Нельзя выпускать из виду главную цель революции — сделать общество более гуманным, более терпимым, более свободным. Помимо политических и экономических результатов, революция должна принести добавленную нравственную стоимость, и именно поэтому она не может быть отдана на откуп циникам и политтехнологам.

Или это дело всего народа, который, проходя через революцию, нравственно очищается и освобождается, — и такая революция, несмотря на все свои издержки, полезна для общества. Или это дело революционной партии, совершающей ее именем народа, но в своих интересах, — и такая революция ничего не стоит ни для кого, кроме партийных функционеров.

Революция нужна не для того, чтобы разрушить старый порядок. Для этого не надо много ума. Революция нужна для того, чтобы на месте старого порядка создать новый порядок, основанный в равной мере и на справедливости, и на милосердии.

Если такой новый порядок не возникает, революцию следует считать провальным проектом. Сегодня мы зачастую в пылу борьбы слишком сосредоточены на негативной стороне революции, на необходимости снести ненавистный многим режим, и это понятно, особенно теперь, когда этот режим перешел к политике открытых массовых репрессий. Но если мы не перенесем центр тяжести на положительную сторону революции, на ее идеалы, на ее мечты о правовом обществе и государстве, мы обесценим любую победу над режимом и окажемся от цели еще дальше, чем прежде.

Страсть борьбы, желание отомстить, желание увидеть упырей пригвожденными как минимум к позорному столбу — понятно и во многом оправданно. Режим сам провоцирует чувство ненависти и неприятия у своих оппонентов. Но если, глядя в будущее, мы будем руководствоваться исключительно этими эмоциями, то далеко не уйдем. В конечном счете выиграет тот, кто сможет поднаться над эмоциями и даст шанс всем поучаствовать в создании новой, открытой России.

Заключение

Почему я назвал этот текст «Новая Россия станет Гардарикой»? Не только потому, что децентрализация и урбанизация занимают в моем видении будущего ключевое место. Можно было бы подобрать и более современное слово или словосочетание.

Для меня, как и для многих моих сограждан, важна тысячелетняя непрерывность российской истории, важны истоки нашей общей европейской — а теперь уже евроатлантической — цивилизации.

Для меня важно, что мы не среди чужаков в этом западном мире, а среди его создателей и защитников. Да, прикрыв западную цивилизацию от татаро-монгольского, азиатского нашествия, мы многое потеряли и во многом стали иными, однако не стали азиатами по своей культуре (не хочу сказать ничего дурного о древней и замечательной азиатской культуре, но это не мы: Шекспир или Сервантес нам ближе, чем Хафиз или Сунь-цзы).

Современный мир — это не только глобализация, коммуникация и сотрудничество, это в том числе и конкуренция на новом, глобальном уровне, на уровне глобальных цивилизаций.

Вековые войны и презрение к человеческой жизни оставили слишком мало нас, чтобы мы могли основать еще одну, новую, отдельную, но конкурентоспособную цивилизацию.

Конечно, всегда есть место на обочине прогресса, а современный мир уже достаточно гуманен и предусмотрителен, чтобы на такую обочину не покушаться, — есть мягкие методы использования тех, кто слишком слаб для настоящей конкуренции.

Мне претит такое место для моей страны. Мы — европейцы! Мы строили и защищали эту цивилизацию и имеем на нее не меньшее право, чем французы, немцы, британцы, австралийцы, канадцы или американцы!

Мы веками шли рядом, плечом к плечу, и знаем: они все нужны нам, а мы — им. Мы не будем слушать глупых и жадных людей, которые в своих корыстных целях хотели бы нас разделить.

Да, мы можем найти в истории уйму событий, которых лучше бы не случилось, но даже беды и войны у нас общие: пятьдесят миллионов погибших в Европе только во Второй мировой мы по сей день помним — и друзей, и врагов... А о пятидесяти миллионах погибших в Китае мы знаем... Ощущаете разницу?

Гардарика — страна из тех давних времен, когда мы были одной Европой. И мы опять будем ей — это историческая предопределенность. А вот место за общим столом зависит от нас, от нашего таланта, ума, способности предвидеть будущее и достичь именно тех целей, которые сделают счастливыми нас, наших детей и внуков.

Я делаю свой взнос в эту работу. Кто сможет — пусть сделает больше и лучше.